18+

НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ ИМЕНА



The Booker Prize 2013 Shortlist

НОВАЙОЛЕТ БУЛАВАЙО

в переводе ДМИТРИЯ ШЕПЕЛЕВА

Нам нужны новые имена

НоВайолет Булавайо

Аннотация
НоВайолет Булавайо. Нам нужны новые имена
Двигаем в Будапешт
Дарлинг на горе
Игра в страны
Реальные перемены
Как их принесло
Нам нужны новые имена
Тсс
Чорная сила
Взаправду
Как они уходили
Дестройдмичиген
Свадьба
Ангел
Этот фильм содержит травмирующие сцены
Двигаем в «Перекресток»
Как они жили
Моя Америка
Надпись на стене
Благодарности
Об авторе

От переводчика

Аннотация

Дарлинг всего десять лет, и все же ей приходится ориентироваться в этом хрупком и жестоком мире. В Зимбабве Дарлинг и ее друзья крадут гуавы, играют в «страны» и цепляются за воспоминания о том, что было «до». До того, как их дома были разрушены вооруженными полицейскими, до того, как закрылась школа, до того, как отцы уехали на опасную работу за границу.

Но у Дарлинг есть шанс сбежать — переехать в Америку, где живет ее тетя. Героиня отправляется в эту новую страну в поисках изобилия, о котором столько слышала, но сталкивается со всеми сложностями эмиграции.

В своем дебюте отмеченная многими наградами НоВайолет Булавайо глазами ребенка показывает все ужасы мира — несправедливого и шаткого.

Внимание! Содержит нецензурную брань.

Три факта о книге:

1. Дебютный роман НоВайолет Булавайо,

мгновенно принесший ей признание.

2. Книга вошла в шорт-лист Букеровской премии 2013 года.

3. Одна из важных книг 2013 года по версии The New York Times, одно из лучших произведений года по версии National Public Radio, финалист премии Guardian за дебютный роман.

НОВАЙОЛЕТ
БУЛАВАЙО

НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ ИМЕНА

в переводе
ДМИТРИЯ ШЕПЕЛЕВА



НоВайолет Булавайо
Нам нужны новые имена

NoViolet Bulawayo
We Need New Names

Перевод с английского *Дмитрия Шепелева*
Дизайн обложки и иллюстрация *Юлии Дмитриевой*

Руководитель по контенту *Екатерина Панченко*
Ведущий редактор *Ольга Чеснокова*

Литературный редактор *Юлия Тржемецкая*
Корректоры Надежда Болотина, Анна Погорелова
Компьютерная верстка Александра Нескородьева

Продюсер аудиокниги *Екатерина Дзоря*

Специалист по международным правам *Наталия Полева*

© NoViolet Bulawayo, 2013. Печатается с разрешения автора при содействии его литературных агентов The Wylie Agency.

© Дмитрий Шепелев, перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2026

* * *

Посвящается За

Двигаем в Будапешт

Мы направляемся в Будапешт: Бастард, Чипо, Гадноуз, Сбо, Стина и я. Несмотря на то, что нам нельзя выходить за Мзиликази-роуд, на то, что Бастард должен приглядывать за сестренкой Фракшн, на то, что мама меня прибьет, если узнает; несмотря на все. В Будапеште можно натырить гуавы, а я сейчас за гуаву умереть готова. Мы с утра не ели, и в животе у меня будто все лопатой выкопали.

Из Парадайза выбраться несложно, потому что матери, известное дело, заняты своими волосами и разговорами. Лишь глянули на нас, когда мы прошмыгнули мимо лачуг. И мужчины, расположившиеся под жакарандой, нам не помеха — у них на уме только шашки. Одна голая детвора замечает нас и плетется следом, но Бастард дает в лоб первому, и они отстают.

Добравшись до зарослей, мы уже вовсю несемся и голосим, словно визг добавляет нам скорости. Сбо заводит: Кто открыл путь в Индию? И мы все: Васко да Гама! Васко да Гама! Васко да Гама! Бастард впереди, поскольку он в этот день

выиграл в страны и решил, что он теперь наш президент или типа того; за ним — я, Гадноуз, Стина, Сбо и в самом хвосте Чипо, за которой никто в Парадайзе не мог угнаться, пока ее кто-то не обрюхатил.

Перейдя Мзиликази, мы срезаем путь через очередные заросли, чешем по Хоуп-стрит, обтекаем большой стадион с блестящими скамьями, на которых никому из нас не сидеть, и, наконец, оказываемся в Будапеште. Один разок нам, правда, пришлось притормозить, чтобы Чипо с животом передохнула; иногда он у нее побаливает, и надо переждать, пока боль не успокоится.

И когда она уже родит? говорит Бастард. Бастарду не нравится, что мы буксуем на ровном месте из-за живота Чипо. Он даже убеждал нас не играть с ней.

Когда-нибудь родит, говорю я за Чипо, поскольку она больше не разговаривает. Она вовсе не немая, просто замолчала, когда живот стал расти. Но она по-прежнему играет с нами и во всем участвует, а если ей очень-очень нужно что-то сказать, то показывает руками.

Когда-нибудь — это когда? В четверг? Завтра? Через неделю?

Не видишь разве, что у нее живот еще малень-

кий? Ребенку надо вырасти.

Ребенок растет *снаружи* живота, а не внутри. Затем он и рождается. Чтобы вырасти во взрослого.

Ну, еще рано. Поэтому он пока в животе.

Это мальчик или девочка?

Мальчик. Первому положено быть мальчиком.

Но ты же девочка, башка, а тебя первой родили.

Я сказала — *положено*.

Хватит этой отстойной болтовни, не твой ведь живот.

Я думаю, это девочка. Я все время прикладываю руки и ни разу не почувствовала толчка, ни разочка.

Да, мальчики толкаются, пихаются и бодаются, это все, что они умеют.

Она хочет мальчика?

Нет. Да. Может быть. Я не знаю.

А откуда вообще дите выходит?

Из того же места, через которое в живот заходит.

А как оно в живот попадает?

Сперва его туда Богоматерь вкладывает.

Нет, не Богоматерь. Мужчина его вкладывает, мне кузина Муса говорила. Ну, вообще-то, она го-

ворила Энии, а я просто рядом была и услышала.

Ну и кто вложил ребенка в нее?

Откуда нам знать, если она не говорит?

Кто его вложил туда, Чипо? Скажи нам, мы никому не проболтаемся.

Чипо смотрит в небо. В одном глазу у нее слеза, совсем маленькая.

Тогда, если мужчина вложил это, почему он же не вынет?

Потому что рожают женщины, недоумок. Для того у них и груди, чтобы дети сосали, и все остальное.

Но у Чипо груди маленькие. Как камешки.

Неважно. Вырастут, когда ребенок родится. Идем. Мы можем идти, Чипо? говорю я.

Чипо не отвечает, она просто срывается с места, и мы ее догоняем. Добежав до самой середины Будапешта, останавливаемся. Тут все иначе, не как в Парадайзе, мы словно оказываемся в другой стране. В хорошей стране, где живут люди, непохожие на нас. Но только здесь не видно ничего такого, что походило бы на жизнь настоящих людей; даже воздух пустой: никакая вкуснятина не готовится, нет ни запахов, ни звуков. Вообще ничего.

Будапешт — это сплошь большие-большие

дома со спутниковыми тарелками на крышах и опрятными двориками с щебенкой или подстриженными газонами, с высокими заборами и бетонными стенами, с цветами и огромными деревьями, увешанными плодами, которые только нас и ждут, потому что никто здесь, похоже, не знает, что с ними делать. Именно плоды и придают нам смелости, а иначе мы бы и не сунулись сюда. Я все жду, что чистые улицы вот-вот шикнут на нас и велят убираться восвояси.

Раньше мы тырили у Стининого дяди, который теперь живет в Британии; ну, не прямо тырили-тырили — это ведь было не чье-то чужое дерево, а дяди Стины. Есть разница. Но вскоре мы разделались со всеми гуавами на том дереве и перешли к другим домам. Мы обобрали столько деревьев, что я сбилась со счета. Это Бастард решил, что нам надо выбрать улицу и оставаться на ней, пока не обойдем все дома. А дальше переходить на следующую улицу. Чтобы не путать, где мы были и куда идем. Схема такая, и Бастард говорит, что, действуя по ней, мы станем лучшими ворами.

Сегодня мы начинаем новую улицу, поэтому внимательно все обнюхиваем. Мы проходим по

Чимуренга-стрит[1], где уже обобрали все гуавовые деревья недели две-три назад, и видим, как раздвигаются белые занавески и возникает лицо в окне кремового дома, перед которым стоит мраморный голый писающий мальчик с крыльями. Мы замираем и глазеем, смотрим, что сделает это лицо, и тут окно открывается, и веселый голосок велит нам задержаться. Мы стоим как стояли не потому, что послушались этого голоса, а потому, что никто из нас не бросился наутек, и еще потому, что голос не внушает опасности. Из окна на улицу льется музыка; это не квайто, не дэнсхолл, не хаус — это что-то непонятное.

Высокая худая женщина открывает дверь и выходит из дома. Она что-то ест — это первое, что мы замечаем. Направляясь к нам, она машет рукой, и мы уже понимаем по ее худобе, что убегать нам не придется. Мы ждем, пытаясь понять, чему или для чего она улыбается. Женщина останавливается у калитки; калитка закрыта, а ключи она не взяла.

Иисусе, не выношу эту ужасную жару и твердую

---

[1] Примечания: 1

Чимуренга (по имени праотца народов шона, венда и каланга) — борьба; общее название межрасовых столкновений на территории Зимбабве между чернокожими аборигенами и белыми колонистами. *Здесь и далее прим. пер.*

землю. Как вам, ребята, удается с этим справляться? спрашивает женщина неопасным голосом. Она улыбается и откусывает кусочек от чего-то съедобного, что держит в руке. На шее у нее болтается розовый фотоаппарат. Мы все смотрим на ступни этой женщины, которые выглядывают из-под длинной юбки. Они у нее чистые и красивые, как у младенца. Она шевелит пальцами с лиловыми ногтями. Я не помню, чтобы мои ступни когда-нибудь так выглядели; разве что когда я только родилась.

И еще смотрим на ее красный жующий рот. По натянутым жилам сбоку шеи и по тому, как она причмокивает большими губами, я понимаю: эта еда реально вкусная. Я внимательно гляжу на ее тонкую руку, на еду в ней. Это что-то плоское, с хрустящей корочкой. Верхушка кремовая, на вид мягкая, и на ней кругляшки вроде монеток — темно-розовые, как свежие ожоги. Я также вижу посыпку из чего-то красного, зеленого и желтого и коричневые бугорки, напоминающие прыщи.

Чипо указывает на эту штуку и тычет в воздух, как бы говоря: Что это? Другой рукой она гладит живот; теперь, когда она беременная, Чипо все время играет с животом, словно это какая-то игрушка. Живот у нее с футбольный мяч, не очень

большой. Мы пялимся на рот женщины и ждем, что она скажет.

А, это? Это фотоаппарат, говорит женщина, будто мы не знаем; камню и то ясно, что это фотоаппарат. Женщина вытирает руку о юбку, трогает фотоаппарат, затем бросает недоеденную штуку в бачок у двери, не попадает и смеется как помешанная. Она смотрит на нас, типа призывая, чтобы и мы с ней посмеялись, но наши глаза прикованы к той съедобной штуке, которая пролетела по воздуху и мертвой птичкой упала на землю. Мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь выбрасывал еду, даже такую. Чипо, кажется, готова броситься к ней и поднять. Изогнутый рот женщины заканчивает жевать, она глотает. Я глотаю вместе с ней, и в горле у меня покалывает.

Сколько тебе лет? спрашивает женщина Чипо, глядя на ее живот, словно никогда не видела беременную.

Ей одиннадцать, отвечает за Чипо Гадноуз. Нам десять, мне и ей, — мы как близнецы, говорит Гадноуз, имея в виду себя и меня. Бастарду одиннадцать, Сбо девять, а сколько Стине — мы не знаем, потому что у него нет метрики.

Вау, говорит женщина. Я тоже говорю: вау,

вау-вау-вау, — но только про себя. Я впервые услышала это слово. Пытаюсь понять, что оно значит, но устаю напрягать мозги и сдаюсь.

А вам сколько лет? спрашивает ее Гадноуз. И откуда вы? Я думаю, что у Гадноуза слишком большой рот и однажды по нему влепят.

Мне? Ну, мне тридцать три, и я из Лондона. Я впервые приехала в папину страну, поясняет она и теребит цепочку на шее. Золотая висюлька на цепочке — в виде карты Африки.

Я знаю Лондон. Однажды я ел сладости оттуда. Сперва они были сладкими, а потом сделались кислыми во рту. Их прислал дядя Вуса, когда только перебрался туда, но это было давно. Больше он ничего не присылает, говорит Гадноуз. Он поднимает взгляд к небу, словно хочет увидеть там самолет с дядиными сладостями.

Но вы выглядите всего на пятнадцать, как маленькая, говорит Гадноуз, снова глядя на женщину. Я ожидаю, что она сейчас протянет руку и ударит его по губам, однако она лишь улыбается, словно ее не оскорбили.

Спасибо, я только недавно слезла с диеты Иисуса, говорит она очень довольным голосом. Я смотрю на нее: типа, за что спасибо-то? И думаю при этом: что за диета Иисуса? Она о реальном

Иисусе, типа Божьем сыне?

По лицам и молчанию остальных я понимаю, что они считают женщину странной. Она запускает руку в волосы, спутанные и растрепанные; если бы я жила в Будапеште, то мылась бы каждый день с ног до головы и хорошо причесывалась, чтобы показать: я не абы кто и живу не абы где. С этими дикими волосами, за калиткой с замком и прутьями забора, женщина похожа на животное в клетке. Я начинаю обдумывать, что буду делать, если она все же выскочит и набросится на нас.

Вы, ребята, не возражаете, если я сниму вас? спрашивает она. Мы не отвечаем, потому что не привыкли, чтобы взрослые нас о чем-то спрашивали; мы просто смотрим на женщину, на ее буйные волосы, на юбку, которая метет землю при ходьбе, на ее красивые ступни, ее золотую Африку, ее большие глаза, ее гладкую кожу без единого шрама, словно она вовсе не человек, на серьгу в ее носу, на футболку со словами «Спасите Дарфур».

Отлично, теперь встаньте покучнее, говорит женщина. Ты, высокий, давай назад. А ты, да, ты, и ты, смотрите сюда. Нет, это я тебе, без зубов, смотри на меня, вот так, велит она; ее руки высо-

вываются из-за решетки, едва не касаясь нас.

Так, так, теперь скажите «чиз», скажите «чиз, чиз, чи-и-из», с энтузиазмом распоряжается она, и все говорят «чиз». Сама я толком ничего не говорю, так как пытаюсь вспомнить, что значит «чиз», и никак не вспомню. Вчера Мать Костей рассказывала нам о птичке Дуду: та выучила и спела новую песню, смысла слов которой не понимала, и ее потом поймали, убили и съели на ужин, потому что в песне она на самом деле просила людей убить себя и съесть.

Женщина указывает на меня, кивает и просит тоже сказать «чи-и-из», и я говорю — в основном потому, что она улыбается так, словно реально знает меня и даже мою маму. Я проговариваю сперва медленно, а потом повторяю «чиз, чиз, чиз, чи-и-из», и все говорят «чиз-чиз-чиз», и мы вместе распеваем это слово, а фотоаппарат щелкает, щелкает и щелкает. Затем Стина, молчавший почти все время, просто поворачивается и уходит. Женщина перестает снимать и говорит: Эй, куда это ты идешь? Но он не останавливается, даже не оборачивается. За Стиной следует Чипо, а после и мы все идем за ними.

Женщина стоит и снимает, как мы уходим. Потом Бастард тормозит на углу Виктории и

начинает кричать ей гадости; я вспоминаю ту штуку, которую она выбросила, даже не спросив, не хотим ли мы ее, и тоже кричу гадости, и все подхватывают. Мы кричим, кричим и кричим; мы хотим съесть то, что она ела, мы хотим слышать, как разносятся наши голоса, хотим, чтобы голод отступил. А женщина стоит и смотрит на нас в недоумении, словно при ней никто никогда не кричал, а затем устремляется обратно в дом, но мы кричим ей вслед, кричим, пока не чувствуем вкуса крови в саднящих глотках.

Бастард говорит, что мы, когда подрастем, перестанем тырить гуавы и перейдем на более серьезные вещи в самих домах. Я об этом не особо беспокоюсь, потому что к тому времени меня тут вообще не будет; я буду жить в Америке у тети Фосталины, есть реальную еду и заниматься делами поважнее воровства. А пока — гуавы.

Мы решаем устроить набег на Роберт-стрит, на огромный белый дом, напоминающий гору. В доме — большие окна, много всего блестящего, а перед ним есть красный бассейн в окружении пустых стульев. Все выглядит очень красивым, но, я думаю, это то, на что приятно смотреть, восхищаться и говорить «о, как красиво», а не то, в чем хотелось бы жить.

К счастью, дом стоит в глубине двора, а наши гуавы — прямо перед входом; они будто услышали, что мы идем, и выбежали нам навстречу. Мы довольно быстро перелезаем через стену, забираемся на дерево и наполняем пластиковые сумки. Сегодня мы тырим бычьи гуавы. Они большие, как злые мужские кулаки, и не желтеют, как обычные гуавы; снаружи они остаются зелеными, а внутри — розовые, рыхлые и до того вкусные, что я даже объяснить не могу.

На обратном пути в Парадайз мы не бежим. Спокойно идем, словно Будапешт теперь тоже наша страна, словно мы сами его построили, и едим по дороге гуавы, сплевывая кожуру куда попало и повсюду мусоря. Мы останавливаемся на АЮ-стрит, чтобы Чипо вырвало; ее рвет почти всегда, когда она ест. Сегодня ее рвота похожа на мочу, только гуще. Мы идем дальше, не убрав за собой.

Когда-нибудь я буду тут жить, в таком вот доме, говорит Сбо, вгрызаясь в толстую гуаву. Она указывает на большой голубой дом с длинной лестницей, утопающий в цветах. Дом и правда хороший, но не лучше того, где мы только что тырили гуавы. Голос у Сбо такой, будто она не играет, а знает, о чем говорит. Я смотрю, как она

жует, раздувая щеки. Глотает и принимается боковыми зубами счищать кожуру с остатка гуавы.

И как ты это сделаешь? спрашиваю я.

Сбо сплевывает кожуру и, обращая ко мне свои большие глаза, отвечает: Я просто это знаю.

Во сне она это сделает, говорит Бастард, глядя на солнце, и бросает гуаву в стену дома Сбо. Гуава взрывается и растекается по стене. Я кусаю сладкую гуаву; мне не нравится разгрызать семена бычьей гуавы — они твердые и требуют много времени, поэтому я их лишь надкусываю, а иногда глотаю целиком, хотя знаю, что случится позже, когда я присяду по-большому.

Зачем ты это сделал? Сбо смотрит на испачканную стену своего дома, а затем на Бастарда. Лицо у нее стервенеет, как у настоящей женщины.

Я спрашиваю — зачем ты это сделал? Голос Сбо жжется, словно угли, как будто она сейчас что-то сделает Бастарду; но ничего она не сделает, потому что Бастард больше и сильнее, к тому же он мальчик. Он уже бил и Сбо, и меня, и Чипо, и Гадноуза; он всех бил, кроме Стины.

Потому что могу, подхалимка. И вообще, какая разница? говорит Бастард.

Потому что ты слышал, как я сказала, что мне нравится этот дом, вот и не надо ничего ему де-

лать. Мог бы выбрать другой, на который мне плевать, их тут вон сколько! говорит Сбо.

Ну, это еще не значит, что он твой, так ведь? Бастард носит черные треники и линялую оранжевую футболку с надписью «Корнелл»[2]. Он снимает ее и повязывает на голову, и я не знаю, сделался он от этого страшнее или красивее, стал ли больше походить на мужчину или на женщину. Развернувшись, он идет назад, надвигаясь на Сбо. Ему нравится, когда тот, с кем он ссорится, смотрит прямо на него.

Будапешт — это тебе не отстойный туалет, чтобы любой мог зайти, это тебе не Парадайз. Не будешь ты тут жить, говорит он.

Я выйду замуж за мужчину из Будапешта. Он заберет меня из Парадайза, подальше от лачуг, и Хэвенвэя, и Фамбеки, и всего остального, говорит Сбо.

Ха-ха. Думаешь, мужчина возьмет тебя без зубов? Даже я не взял бы, кричит Гадноуз, оглядываясь через костлявое плечо. Они с Чипо и Стиной идут впереди. Я смотрю на шорты Гадноуза, порванные сзади: сквозь грязную белую

---

[2] Примечания: 2

Корнеллский университет (*англ.* Cornell University, сокращенно Корнелл) — один из крупнейших и самых известных университетов США, входит в Лигу плюща.

ткань выглядывает задница, словно таращится на нас.

Я не с тобой говорю, драная задница! отвечает Сбо Гадноузу. К тому же зубы у меня вырастут. Мама говорит, я еще красивей стану!

Гадноуз вскидывает руку, как бы отмахиваясь от нее, потому что ему на это нечего сказать. Камням и то ясно, что Сбо красотка, красивее всех нас, красивее всех детей в Парадайзе. Иногда мы отказываемся играть с ней, если она снова начинает болтать об этом, — как будто мы сами не знаем.

Ну, мне все равно, я сам рвану из этой отстойной страны. Потом сделаю много денег, вернусь и куплю дом в этом самом Будапеште. Или даже лучше — много домов: один в Будапеште, один в Лос-Анджелесе, один в Париже. Где захочу, говорит Бастард.

Когда мы ходили в школу, учитель мистер Гоно как-то сказал: чтобы делать деньги, нужно образование, говорит Стина, останавливаясь и глядя на Бастарда. А как ты теперь его получишь, если мы больше не ходим в школу? добавляет он. Стина мало говорит, и потому, когда он открывает рот, становится понятно, что это важный разговор.

Не нужна мне твоя отстойная школа, козел, чтобы делать деньги, говорит Бастард. И так близко придвигает лицо к Стине, словно хочет откусить ему нос. Стина может подраться с Бастардом, если захочет, но он просто смотрит на него, будто ему скучно, и доедает свою гуаву. А затем уходит быстрым шагом, прочь от нас.

Я собираюсь в Америку, буду жить с тетей Фосталиной, уже скоро, вот увидите, говорю я погромче, чтобы все слышали. И принимаюсь за новенькую гуаву; она такая сладкая, что я съедаю ее за три укуса. Даже семечки не жую.

Америка слишком далеко, мелюзга, говорит Бастард. Я не хочу никуда, докуда нужно лететь. Вдруг попадешь туда и поймешь, что это отстойное место, застрянешь там и не сможешь вернуться? Сам я собираюсь в Йобург[3], и если дела станут плохи, то смогу просто выйти на дорогу и двинуть куда угодно, никого не спрашивая; надо отовсюду иметь возможность вернуться.

Я смотрю на Бастарда и размышляю, что ему сказать. Семечко гуавы застряло у меня между десной и самым дальним зубом, и я пытаюсь достать его языком. Наконец пробую пальцем; на

[3] Примечания: 3

Йобург, Йози — так местные жители называют Йоханнесбург, самый крупный по численности населения город ЮАР.

вкус оно как ушная сера.

Да, Америка далеко. Вдруг с твоим самолетом что-нибудь случится, когда ты там будешь? Вдруг террористы захватят? соглашается Гадноуз с Бастардом.

Я думаю, что бесхребетный голозадый Гадноуз говорит это только для того, чтобы угодить уроду Бастарду. Я берусь за новую гуаву и выразительно зыркаю на Гадноуза.

Мне все равно, я уеду, говорю я и прибавляю шаг, чтобы нагнать Чипо и Стину; знаю, чем закончится разговор, если ко мне прицепятся Гадноуз и Бастард.

Ну и вали в свою Америку, будешь там сиделкой работать. Этим и занимается твоя тетя Фосталина, пока мы тут с тобой разговариваем. Прямо сейчас убирает говно за каким-нибудь сморщенным стариком, который сам ничего не может; думаешь, мы ничего не слышали? кричит мне в спину Бастард, но я продолжаю идти.

И раздумываю о том, что, будь у меня достаточно сил, я развернулась бы и наваляла Бастарду за такие слова о моей тете Фосталине и моей Америке. Я влепила бы ему по лицу, заехала бы по большому лбу, а потом врезала бы кулаком прямо в рот, чтобы он зубы выплевывал. Я колотила

бы его по животу, пока он не выблюет все гуавы, которые съел. Я придавила бы его к земле, упер-лась коленом в хребет, заломила руки за спину и оттягивала бы башку до тех пор, пока он не стал бы умолять сохранить его никчемную жизнь. Вот так я сделала бы, но я просто ухожу. Я знаю, что он болтает это просто из зависти. Потому что у него никого нет в Америке. Потому что тетя Фосталина не его тетя. Потому что он Бастард, а я Дарлинг[4].

К тому времени, как мы возвращаемся в Пара-дайз, гуавы уже съедены и наши животы набиты так, что мы еле ноги волочим. Мы заходим в ку-сты справить нужду, потому что переели. Плюс лучше сделать это до того, как стемнеет, ведь потом никто за компанию не пойдет; а одному страшно выходить на ночь глядя — до кустов нужно идти через кладбище Хэвенвэй и можно наткнуться на привидение. Знающие люди по-говаривают, что по ночам в Парадайзе бродит умерший в прошлом месяце отец Мозес в своей желтой футболке «Барселоны».

Мы все разбредаемся, и я нахожу местечко за валуном. Этим гуавы и плохи: если переешь, то

---

[4] Примечания: 4
Дарлинг (*англ.* darling) — милочка, милая.

из-за их семян будет запор. Мы не говорим об этом, но я знаю, что у всех нас опять запор, так как все сидят молча, никто не встает и не уходит. Мы объедаемся гуавами, потому что только это позволяет убить голод; когда же пора какать, становится дико больно — это дело почти невозможное, типа как пытаться родить страну.

Мы все сидим на корточках кто где, я стучу кулаками по ляжкам, чтобы прогнать спазм, и вдруг кто-то кричит. Не таким криком, когда ты слишком тужишься и семечки царапают анус; этот крик словно говорит «смотрите сюда!», поэтому я прекращаю тужиться, натягиваю трусы и встаю из-за валуна. Чипо сидит на корточках и кричит. Она показывает вперед, в кусты. Мы видим, что там, на дереве, болтается что-то длинное, похожее на странный плод. Затем понимаем, что это не плод, а человек. Затем понимаем, что это не просто человек, а женщина.

Что это? шепчет кто-то. Никто не отвечает, потому что теперь уже всем видно, что это. Худая женщина болтается на зеленой веревке, прицепленной к ветке на верхушке дерева. Красное солнце пробивается сквозь листву, придавая всему странный оттенок; это выглядит по-своему красиво, светлая кожа женщины поблескивает.

Но смотреть все равно страшно, и я хочу убежать, но не хочу бежать одна.

Тонкие руки женщины безвольно свисают по бокам, кисти и ступни указывают на землю. Одни прямые линии, словно ее нарисовали такой, висящей в воздухе. Страшнее всего — глаза, донельзя белые и готовые вылезти из орбит. Рот распахнут, образуя букву «о», как будто женщина пыталась что-то сказать и не успела. На ней надето желтое платье, трава лижет носы красных туфель. Мы просто стоим и глазеем.

Побежали, говорит Стина, и я готова сорваться с места.

Не видите разве, что она повесилась и уже мертвая? Бастард берет камень и бросает; он попадает женщине по бедру. Я ожидаю, что что-то произойдет, но ничего не происходит; она не шевелится, двигается лишь ее платье. Ткань чуть колышется на легком ветерке, словно ангелочек играет с ней.

Видите, сказал же вам, она мертвая, говорит Бастард таким голосом, которым периодически напоминает нам, кто тут главный.

Тебя Бог за это накажет, говорит Гадноуз.

Бастард бросает еще один камень и попадает женщине по ноге. Она по-прежнему не шевелит-

ся — просто болтается, как потрепанная кукла. Меня охватывает ужас; мне кажется, что женщина косится на меня своим белым вытаращенным глазом. Косится и ждет, чтобы я что-то сделала, не знаю что.

Бог тут не живет, дурак, говорит Бастард. Он снова бросает камень, но тот только задевает желтое платье, и я рада, что он промахнулся.

Я пойду расскажу маме, говорит Сбо, и по голосу ясно, что она чуть не плачет.

Стина уходит, Чипо, Сбо, Гадноуз и я идем за ним. Бастард ненадолго задерживается, но, оглянувшись через плечо, я вижу, что он нас нагоняет. Я знаю, что он не останется в зарослях наедине с мертвой женщиной, как бы ни хотел казаться бесстрашным. Мы идем, и вдруг Бастард вырывается вперед и останавливает нас.

Эй, кто хочет реального хлеба? говорит он, затягивая потуже футболку «Корнелл» на голове и улыбаясь. Я вижу рану на его груди — слева, под ребрами. Розовую, как внутренность гуавы.

Это где? говорю я.

Слушайте, вы заметили, что туфли на этой женщине почти новые? Если мы снимем их, то сможем продать и купить буханку, а то и полторы.

Мы все разворачиваемся и идем за Бастардом к зарослям, уже чувствуя дурманящий запах бананового хлеба, а потом бежим, несемся со всех ног и смеемся, смеемся, смеемся.

Дарлинг на горе

В этот день умер Иисус Христос, поэтому мне надо оставаться на воздухе и мыться холодной водой. Мне не нравится холодная вода и не нравится мыть все тело, но приходится, если нужно идти в какое-то особенное место. Когда я закончу и оденусь, мы с Матерью Костей отправимся в ее церковь[5]. По ее словам, это меньшее, что мы можем сделать, ведь мы все грязные грешники и это за нас отдал жизнь Иисус Христос; но я знаю одно: когда все это случилось, меня там не было, так почему же я грешница?

Ходить в церковь мне тоже не нравится, я не понимаю, зачем должна сидеть под жарким солнцем на этой горе и слушать скучные песни, бессмысленные молитвы и непонятные стихи, когда могла бы заниматься чем-то важным с друзьями. Плюс в прошлый раз этот чокнутый Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро тряс и тряс меня, пока я не сблевала чем-то розовым. Я думала, что реально умру. Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро пытался изгнать из меня

---

[5] Примечания: 5
Христианство исповедуют 85 процентов населения Зимбабве.

духа; говорят, я одержима — из-за того, что мой дедушка не похоронен должным образом. Во время войны белые люди убили его за то, что он кормил и укрывал террористов, которые пытались вернуть себе нашу страну, украденную белыми.

Если что-то крадешь, лучше красть что-то маленькое, что можно спрятать или быстро съесть, — как гуава. Тогда люди не увидят тебя с краденым, которое укажет, что ты бессовестный вор и украл это у них; в общем, не представляю, о чем думали белые люди, когда украли не просто какую-то вещь, а целую страну. Разве кто-нибудь простит такую кражу? Никто не знает, где тело моего дедушки, и люди в церкви говорят, что его дух живет во мне и не оставит меня, пока его не похоронят как положено. Правда, сама я никогда не видела и не чуяла этого духа и не могу сказать, правы эти люди или врут, как иногда делают взрослые просто потому, что они взрослые.

Эй, ушастая, зачем ты купаешься? кричит мне кто-то.

Кто это? кричу я в ответ, хотя мне и не нравится, когда меня называют ушастой. У меня все лицо в мыле, так что я не открываю глаза.

Мы собираемся играть в виллибол, а зачем ты купаешься?

Я иду в церковь с Матерью Костей, говорю я, ощущая во рту мыло «Санлайт». И начинаю плескать воду на лицо.

Не хочешь с нами поиграть? спрашивает другой голос, возможно Сбо.

Мне надо в церковь. Не знаете, что ли, что сегодня умер Иисус? говорю я.

Мой отец говорит, что ваша церковь — отстой, а ваш Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро просто иди… слышу я голос Бастарда.

Ты ты фуцекани оставь ее в покое мгодойис поганый пошел вон бо-Сатан бе-Рома[6]! ярится Мать Костей из лачуги. Я слышу хихиканье и топот убегающих ног. Закончив умываться, открываю глаза, но все уже исчезли; все, что я вижу, — это коричневую собаку, лежащую возле лачуги МаДумэйн, и Аннамарию, купающую в тазу своего сына-альбиноса, Уайтбоя. Когда я машу ему, он начинает плакать, а Аннамария смотрит на меня испепеляюще и говорит: Оставь в покое моего сына, уродина, не видишь, ты его пугаешь?

В лачуге Мать Костей уже разложила мое хорошее желтое платье, которое я не посмела бы

---

[6] Примечания: 6

Фуцекани, мгодойис, бо-Сатан бе-Рома — слова и выражения из ряда африканских языков: «недоумок», «выродок», «сатанинское отродье».

надеть, будь тут моя мама; она пошла на границу продавать вещи, и я остаюсь с Матерью Костей, пока она не вернется. Иногда мама возвращается всего через несколько дней, иногда — через неделю; иногда она возвращается, когда я даже не знаю, в какой день ее ждать. Сейчас Мать Костей занята тем, что пересчитывает деньги, как и каждое утро, а я потихоньку занимаюсь своими делами, чтобы не мешать ей. Лезу под кровать и достаю вазелин.

Да не балуй с вазелином не вздумай пить его хона и нечего тебе играть с этими придурками от них добра не жди, говорит Мать Костей, а я притворяюсь, будто не слышу ее. Навазелинившись, я одеваюсь, сажусь на край кровати и жду; не понимаю, зачем Мать Костей каждый день пересчитывает свои деньги, словно кто-то сказал ей, что они за ночь дают приплод. Чтобы не скучать, я принимаюсь считать выцветшие солнца на покрывале; их ровно двенадцать, как апостолов: Симон, Петр, Андрей, других не знаю; может, зовись они получше, я всех запомнила бы.

Пересчитав солнца, я смотрю в другой конец лачуги на отца — он одет в странное черное платье и дурацкую квадратную шляпу; с шеи его свисают какие-то веревочки и всякие штуко-

вины. В одной руке он держит бумагу, а другую его руку трясет толстяк в костюме. Мать Костей говорит, что фотография была сделана, когда отец оканчивал университет, незадолго до моего рождения. Она сама там тоже есть, только ее не видно, потому что толстяк вылез прямо перед ней в тот момент, когда щелкнула камера, словно это его родной сын оканчивал университет. Теперь отец в Южной Африке, работает, но никогда не пишет, никогда не присылает деньги, вообще ничего и никогда. От мыслей о нем меня злость берет, а потому большую часть времени я делаю вид, что его просто нет; уж лучше так.

Дальше я смотрю на длинную желтую занавеску с прекрасными принтами гордых павлинов, распустивших перья лучами. Она закрывает часть жестяной стены; мне не совсем понятно, зачем Мать Костей вообще повесила занавеску, ведь здесь нет настоящих стеклянных окон. После занавески я смотрю на календарь; он старый, но Мать Костей хранит его, потому что на нем — Иисус Христос. С женскими волосами и робкой улыбкой, он склонил голову чуть набок; по всему видно, что он реально хотел хорошо получиться на картинке. Раньше у него были голубые глаза, но я покрасила их в коричневый, как у меня и

у всех вокруг, чтобы он стал нормальным. Мать Костей так сильно отлупила меня за это, что я два дня не могла присесть.

Рядом с Иисусом — мой кузен Макоси со мной на руках, когда мы были маленькими. Два года назад Макоси уехал на шахту Маданте копать алмазы — тогда их там впервые обнаружили, и все повалили туда. Когда Макоси вернулся, руки у него были как гнилые бревна. Он рассказывал нам о Маданте, сотрясаясь в приступах мучительного мокрого кашля: о том, как забывал обо всем, когда находился под землей. Все, что он чувствовал, спускаясь в шахту, — это ужасный грохот кувалды со всех сторон или даже у него внутри, словно он ее проглотил. Позже он тоже уехал в Южную Африку, как и отец.

А под кроватью, внутри старой потрепанной Библии, которую Мать Костей не берет в церковь, спрятана фотография дедушки. Его убили до моего рождения, но как только я увидела его, сразу поняла, кто это; я будто смотрела на себя, и Макоси, и отца, и дядю Музи, и других родных, — будто дедушкино лицо было кулаком, зажавшим все наши лица, как монеты.

На спрятанной фотографии дедушка говорит, губы у него поджаты. Лоб сморщен, а красные

глаза так вперились в объектив, что, кажется, он хочет его съесть. В носу у него кость, а в ушах серьги. За ним простираются поля маиса в пояс высотой, зелень без конца и края. Никто не любит говорить о нем, словно его вовсе не было, но иногда я замечаю, как Мать Костей что-то бормочет, и, хотя она не признается, у меня всегда такое чувство, что бормочет она ему. Она не знает, что я знаю о дедушкиной фотографии.

Зачем это кому-то надо чтобы я выбросила чемодан с деньгами это все чего я хочу знать и я сказала с деньгами не с кирпичами нет с деньгами, говорит Мать Костей. Она сидит на корточках перед чемоданом, скрючившись, как богомол. Латунные браслеты звякают и звякают, пока ее руки перебирают пачки денег.

Знаешь чего я не пойму? спрашивает Мать Костей. Она поднимает голову и смотрит на меня, но я ей ничего не отвечаю, потому что знаю: она вообще не со мной говорит.

Чего я не пойму так это почему на эти самые деньги которых у меня навалом нельзя купить даже крупицу соли вот уж чего не пойму, говорит она, в ее голосе слышится гнев. Деньги есть деньги как ни крути все равно это деньги, говорит Мать Костей. Затем она поглаживает деньги,

словно младенца, которого хочет убаюкать.

Мать Костей, это старые деньги, они теперь бесполезны, неужели непонятно? Надо просто выбросить их или пустить на растопку, как все делают. Поговаривают, что скоро у нас будут американские деньги, говорю я, но только себе под нос, чтобы Мать Костей не услышала.

А американские деньги о которых твердят откуда я их возьму они думают я их накопаю ха думают я возьму и высру их? продолжает Мать Костей. Она всегда говорит скороговоркой, как будто боится, что, если сделает паузу, то у нее отнимут слова. Сперва я чуть не подскакиваю, решив, что она меня услышала, хотя я и говорила тихо, но она даже не смотрит на меня, поэтому остаюсь на месте. Ее лицо болезненно кривится, словно внутри у нее что-то ломается и кровоточит.

Лицо у Матери Костей — под цвет лачуги, грязно-коричневое, как будто специально в тон подобрали. Оно изрезано глубокими морщинами; когда я была маленькой, думала, что кто-то взял осколок зеркала и резал его, резал, резал. На голове у нее повязан белый платок, а шею обвивают цветастые змейки бус: лиловые, оранжевые, розовые, голубые — кричаще яркие на спокойном

коричневом фоне кожи.

* * *

Когда мы идем в церковь, я стараюсь держаться позади Матери Костей; если же я оказываюсь впереди, то она велит мне двигаться как женщина, как будто я женщина. Мать Костей перебирает своими маленькими ножками в разномастных туфлях: плоской зеленой и красной теннисной, с белыми шнурками, но это не значит, что она чокнутая.

Мы проходим мимо лачуг, теснящихся друг к другу, точно хлебные буханки с пылу с жару. Я иду босая — одни туфли мне уже малы, а другие, мэйд-ин-Чайна, которые мама принесла с границы, недавно развалились — и потому, внимательно глядя под ноги, обхожу всякий мусор на пыльной красной дороге: битые бутылки, помои и объедки, бурую лужу не пойми чего, арбузные корки. Несмотря на ранний час, солнце уже припекает лачуги; я чувствую, что и меня оно типа поджаривает.

Я иду молча, как и положено, пока Мать Костей громко здоровается со встречными людьми: ма-

мой Борнфри[7], МаДюбе, забивающей камнем гвозди в крышу лачуги; с НаБетиной, караулящей усевшегося по-большому внука Номопраблемса; с Маи Тонде, которая сидит на табуретке с вопящим младенцем на руках и заглядывает ему в ухо; с НаМгкобой, диктующей письмо высокому мальчишке, которого я впервые вижу.

Мы проходим мимо старого Зюза, глядящего на все слепыми глазами, мимо женщин, которые, усевшись перед лачугой, сплетничают и заплетают друг другу косички, и мимо мужчин: словно овцы, они сгрудились в кучку чуть поодаль, под одинокой жакарандой, и играют в шашки. Крона дерева усыпана лиловыми цветами, и мужчины без рубашек кажутся в ее тени почти красивыми. Они сидят, подавшись вперед, напоминая тигров, безразличные к солнцу, жалящему спины, и к птицам, гадящим им на плечи. Мать Костей громко здоровается с ними и машет рукой, но мужчины едва отрывают взгляды от выцветшей доски с шашками из бутылочных крышек, часть которых перевернута.

Когда мы проходим мимо людей, стоящих в очереди у лачуги Вадлозы, Мать Костей лишь

---

[7] Примечания: 7
Борнфри (*англ.* Bornfree) — буквально «рожденный свободным».

машет им; здесь нельзя повышать голос, ведь это дом целителя. Кое-кто неохотно машет ей в ответ, с трудом превозмогая свои хвори и беды. Они ждут, когда Вадлоза войдет в контакт с их предками, в чем и состоит его работа. На большой белой вывеске выведено жирными красными буквами по-английски:

> Вадлоза, ЛУЧШАЙШИЙ целитель на весь этот Парадайз и не только уладит должным образом все эти проблемные случаи с которыми вы можете столкнутся в вашей жизни: привороты, проклятия, сглазы, распутные супруги, бездетство, нищенство, безработность, СПИД, бешенство, маленькие пенисы, эпилепсия, плохие сны, плохие браки / безбрачие, конкуренция на работе, вас терроризируют мертвые, невезение в получении Визы особенно в США и Британию, бесчуственные люди в вашей жизни, у вас дома пропадают вещи и т. д. и т. п. Все платежи пожалуйста ТОЛЬКО через ФОРЕКС.

Проходя мимо детской площадки, я притормаживаю, чтобы все рассмотреть. Они играют в виллибол, и Бастард скачет под веревкой, а

остальные скандируют: Он в Америку поехал на кастрюле, — и всяко-разно. Они останавливаются и смотрят, как мы идем, а когда совсем приближаемся, Гадноуз кричит: Дарлинг! Саму сказала, что может побить тебя, хочешь драться с ней, когда вы вернетесь? Слышала, НПО приедет на следующей неделе? Ты пойдешь в Будапешт? Будто не знает, что ему не положено разговаривать со мной, когда я рядом с Матерью Костей, как сейчас. Я начинаю поднимать руку к губам — хочу показать, что надо заткнуться, но Мать Костей говорит, даже не оборачиваясь: Не водись с этими нехристями мелкими слышишь?

Чуть дальше детской площадки мы встречаем Борнфри и Мессенджера, которые несут пачки плакатов. Они стараются выглядеть близнецами в одинаковых футболках с белыми сердечками спереди и красным словом «Перемены» пониже. Они расступаются, пропуская нас.

Доброе утро, Мать Костей, говорят они разом, словно репетировали.

Будете собирать кости, Мать Костей? говорит Мессенджер. Он смотрит на Мать Костей с улыбкой; улыбка у него хорошая, даже несмотря на черный зуб впереди. Мне они ничего не говорят, так что я просто смотрю на свои ноги, облеп-

ленные красной пылью, как и бывает, когда пользуешься вазелином и не носишь туфли.

Нет сын мой я иду в дом Господа не знаешь разве какой день сегодня? говорит Мать Костей на ходу. Она всех зовет «сын мой» или «дочь моя»; я думаю, это потому, что она не может запомнить имен.

Что ж, ваш Бог прислушивается, потому что перемены, которые все так призывали, наконец настали, говорит Мессенджер. И снова улыбается; Мессенджер любит улыбаться, как будто жизнь совершенно прекрасна, как будто все замечательно.

Да, так и есть, смотрите, добавляет Борнфри. И встряхивает стопку бумаг, на которых я вижу слова «Перемены, реальные перемены». Голос у него яркий и дерзкий, как красные чернила на его плакатах.

Завтра мы идем на демонстрацию по Главной улице, присоединяйтесь к нам во имя перемен! Будьте будущим! кричит нам вслед Мессенджер. Мы слышим, как они свистят и голосят о переменах, и вскоре к ним примыкают дети. Я оборачиваюсь и вижу, что все бросили виллибол и несутся за Борнфри и Мессенджером. Вскидывают в воздух кулаки. Бегут, скачут, скандируют,

и слово «перемены» висит в воздухе — кажется, его можно схватить, положить в рот, вонзить в него зубы.

Вот жена Лота оглянулась как ты сейчас и обратилась в соль, говорит Мать Костей, и я тут же останавливаюсь, хотя знаю, что я, Дарлинг, ни за что не превращусь в соль.

Дурачье, говорит Мать Костей. Она чуть прибавляет шагу, и мне приходится поднажать, чтобы догнать ее. Неужели они не видят что дергают льва за хвост неужели не понимают что если не одумаются то останутся одни кости? продолжает она. Тут она оборачивается, словно и правда говорит со мной: Завтра спросишь меня спросишь о чем это я сейчас толкую завтра когда будут настоящие кости, говорит она, а я просто поднимаю взгляд к небу.

Мы идем дальше и дальше, а солнце нас все утюжит, утюжит и утюжит. Пот струится по лицу, и я его не вытираю, а стараюсь слизнуть; когда мне это удается, я чувствую, какой он соленый и жгучий. Мы останавливаемся под деревом мопане, где еще недавно собиралась церковь, и я завязываю Матери Костей шнурок; я это делаю каждый раз перед нашим восхождением на Фамбеки. На дереве закреплена большая таблич-

ка со стрелкой, указывающей наверх, на нашу церковь. Под стрелкой слова: «Христова Церковь Святой Колесницы — Она не едет назад, она не едет в бок, она не едет в перед. Она едет в верх, на Небеса. Аминь!» Думаю, это из Библии, но не знаю откуда.

Мать Костей уже поет свою любимую церковную песню, как делает всегда, карабкаясь в гору. Она поет ее неправильно, потому что не знает всех английских слов, потому что говорит на ломаном английском, потому что не ходила в школу, но я ее не исправляю — взрослым ведь не скажешь ничего. В песне на самом деле поется: «Грехи мои были выше горы, когда меня наставил Господь», а Мать Костей поет «оставил». Я больше в школу не хожу, потому что все учителя уехали преподавать в Южную Африку, Ботсвану, Намибию и прочие страны, где лучше платят, однако я не забыла то, что выучила.

К моменту, когда мы наконец забираемся на вершину Фамбеки, мои бедра налились свинцом, меня мутит от солнца, и я хочу просто сесть и сидеть, но Мать Костей продолжает петь так, будто не вскарабкалась только что на гору. И даже прибавляет громкость — ясное дело, хочет всем показать, насколько хорошая она христиан-

ка. Кроме нее тут находятся еще трое взрослых: мистер Хоув со своей симпатичной женой Маи Шинги и человек в зеленой рубашке, которого я вижу впервые, может быть, родственник мистера Хоува — у них обоих большие головы, похожие на автобусы ZUPCO[8].

Я, как обычно, сажусь на валун рядом с детьми Хоувов, но, когда мальчуган улыбается мне и показывает своего солдатика, я его игнорирую, давая понять, что он маловат для меня. На его носатую сестру я тоже смотрю волком, показывая, что и она мне не ровня.

Вижу вы уже здесь вижу обставили меня сегодня, говорит Мать Костей взрослым. Тон ее игривый, шутливый, но знай вы ее так же хорошо, как я, то поняли бы: она вне себя оттого, что другие добрались сюда раньше нее. Мать Костей любит во всем быть первой.

Вскоре подтягиваются остальные прихожане, тяжело дыша, как собаки после охоты. Единственное, из-за чего я люблю приходить пораньше, — это из-за возможности увидеть, как толстые взрослые с трудом взбираются в гору, стараясь выглядеть ангелами в своих развеваю-

---

[8] Примечания: 8

ZUPCO, Zimbabwe United Passenger Company — Объединенная пассажирская компания Зимбабве (*англ.*).

щихся одеждах, уже не очень белых. Они хлопают в ладоши и приветствуют друг друга именем Господа и всяко-разно, затем женщины расстилают свои нцаро и садятся с одной стороны, а мужчины — с другой, будто две реки, которые не должны пересекаться. Чипо пришла с бабушкой и дедушкой, и я успела оттеснить локтем одного из отпрысков Хоувов, чтобы она могла сесть рядом со мной. Затем приходит МаМойо и сует мне в руки своего младенца, даже не спросив, хочу ли я его держать.

Я ненавижу младенцев и не улыбаюсь, когда сынок МаМойо таращится на меня безумными, как у лягушки-быка, глазами. И что еще хуже — он уродец; так вылупился, словно змея ему жопку показала. Я замечаю круги лишая на его лысой макушке, сопли в носу и решаю, что нет, мне его не надо. Спрашиваю шепотом Чипо, не хочет ли она подержать ребенка, но она даже не смотрит на меня.

Убедившись, что никто не видит, я начинаю корчить рожи младенцу, чтобы напугать его. Но он не плачет, и я щипаю его за руку. Он кривит свое толстое лицо — с неохотой, наверное раздумывая, заплакать ему или нет, и я, сочтя, что он думает слишком долго, щипаю сильнее. Тогда его

прорывает как положено, и мы с Чипо переглядываемся с улыбкой. МаМойо быстро забирает его, потому что никакая женщина не захочет, чтобы ее отчитывали на глазах у всей церкви.

Последними прибывают евангелисты и Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, как верховные бабуины. Выглядят они — закачаешься: с расписными крестами на рясах, с длинными крючковатыми палками, со сверкающими на солнце лысинами и свисающими бородами; сразу видно, что они пытаются копировать тех мужей из Библии.

Сегодня Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро одет в новенькую рясу — молочно-белую, с зелеными и красными полосками по бокам. И палка у него тоже новая, не то что у евангелистов — длиннее и толще, такую не захочешь, а испугаешься. На конце палки — крест в круге. Когда приходят евангелисты и Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, все понимают, что сейчас начнется, и тут же высокая худая женщина встает и запевает «Микоро», а мне охота сдохнуть, потому что эта песня надоела мне, как не знаю что.

Все уже на ногах, распевают, приплясывают и покачиваются, распевают, приплясывают и покачиваются, типа на них дух сошел, но если

это и так, то меня он обошел стороной. Дух всегда обходит меня. Чипо тоже покачивается, поглаживая живот, хотя не поет. Я притворяюсь, будто пою, на случай если Мать Костей посмотрит, но на самом деле только открываю рот, потому что в «Микоро» нет искры. Все просто повторяют: Микоро, Микоро; а поет одна эта женщина, у которой и голоса-то нету, я сама спела бы лучше, даже кошка спела бы лучше. Я смотрю на МаМойо и не удивляюсь, что песня убаюкала ее уродца.

Чтобы не скучать, я поглядываю на Парадайз. Сидя на вершине Фамбеки, как сейчас, я чувствую себя Богом, который все видит. Парадайз сплошь состоит из жести, он раскинулся под солнцем, словно мокрая овчинка, растянутая на земле для просушки; лачуги все бурые, оттенка грязных луж после дождя. Они на самом деле ужасные, но отсюда, сверху, выглядят гораздо лучше и кажутся почти красивыми, словно я смотрю на картину.

Затем я поднимаю взгляд к небу и вижу высоко в облаках самолет. Сперва я думаю, что это просто птица, а потом понимаю, что нет. Может, это самолет «Бритиш эйрвэйз», как тот, на котором улетела в Америку тетя Фосталина.

Я тоже сяду на такой, когда полечу в Америку к

тете Фосталине, шепчу я на ухо Чипо. И указываю глазами, чтобы она поняла, о чем это я; она тоже смотрит в небо.

Хотя не знаю, почему я должна садиться на «Бритиш эйрвэйз», чтобы лететь в Америку; почему не на «Американ эйрвэйз»? говорю я, только обращаюсь уже не к Чипо. Теперь я разговариваю с собой, потому что сомневаюсь, что она меня поймет. Небо отсюда кажется совсем близким, и какому-нибудь святому будет легко протянуть оттуда руку и утереть пот с влажных голов Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро и евангелистов. Бог сказал во сне Профету Ревелэйшнзу Битчингтону Мборро, чтобы тот перенес церковь сюда; может, Бог хотел, чтобы мы находились ближе к нему, как в том стихе о Симоне на горе.

* * *

На землю меня возвращает рев Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро, и я понимаю, что пение кончилось. Если бы голос Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро принадлежал какому-нибудь животному, то это было бы нечто большое и свирепое, сметающее все на своем пути. Как-то раз, когда церковь еще собиралась под мопане, он рассказал нам, что прежде был

тихим, робким человеком, со слабым голосом, который редко использовал, но однажды ночью ему явился ангел и велел: Говори; тогда он открыл рот, и оттуда грянул гром.

Теперь Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро разглагольствует об Иуде, Голгофе, кресте, двух ворах рядом с Иисусом и о прочем разном, выделываясь так, словно сам там был и все видел. Когда на Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро находит, он не стоит смирно. Он расхаживает взад-вперед, словно угли жгут ему пятки. Размахивает руками, иногда тычет палкой в небо, иногда скачет так, будто у него зудит в одном месте. Периодически какая-нибудь женщина голосит: Добрый Иису-у-ус, м-м-м, м-м-м, м-м-м; или: Славься, славься; или еще что-нибудь в этом роде, означающее, что дух коснулся ее.

Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро уже весь в поту, ряса липнет к телу; видно его груди и соски. Я бросаю взгляд на Мать Костей: она вслушивается что есть мочи, глаза прикрыла, голову склонила, а руки сцепила на животе, как будто он болит. Взрослые вокруг согласно кивают либо качают головами, ужасаясь словам Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро, а кто-то урчит или стонет. Я смотрю на Чипо, она закрыла глаза

и дремлет. Мои ягодицы стали такими жесткими, что могли бы посоперничать с камнем.

Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро принялся читать из своей английской Библии, хотя английский у него как у первоклашки. Если он и ходил в школу, то, судя по его чтению, учился там как недоумок, ведь даже Гадноуз читает лучше. Профет Ревелэйшнз Битчингтон не затягивает с чтением Библии — возможно, боится наткнуться на длинное слово, которое не сумеет произнести; он быстро переходит к проповеди, и в этом он действительно хорош. Затем принимается говорить на языке, которого никто не понимает. Люди стонут, хлопают в ладоши и стенают.

Когда женщина, певшая «Микоро», заводит новую песню, перебивая его, Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро продолжает греметь, словно не слышит ее. Сперва их голоса схлестываются, как два бешеных петуха, не желающих уступать друг другу, и от этого у всех звенит в ушах; наконец Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро говорит: Я велю дьяволу заткнуться именем Иисуса. Певица «Микоро» умолкает, а я опускаю голову под мышку и хихикаю, ведь она выделывалась так, словно Бог сказал ей, что она Селин Дион.

После проповеди по рукам пускают большую

белую миску для пожертвований, и мама Дестини начинает петь «Блаженны дающие». Голос у нее тихий и красивый, и я вспоминаю даму из Будапешта; вот какой голос был бы у нее, если бы она умела петь; ей он подошел бы больше, чем маме Дестини, однако ей все равно надо что-то сделать со своими буйными волосами. Вскоре миска возвращается со странными деньгами, которых я никогда прежде не видела, мама Дестини заканчивает петь, а мы переходим к исповеданию в грехах, и те, у кого есть грехи, встают.

Я размышляю о том, что сказала бы, если бы мне пришлось сейчас примкнуть к исповедующимся, но потом понимаю: у меня нет грехов. Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро ходит и касается своей палкой лбов грешниц — это одни женщины, их семеро — и окропляет их святой водой перед исповедью.

Мы слушаем, как Симангеле исповедуется в том, что на прошлой неделе уступила дьяволу и пошла искать помощи у Вадлозы, ибо уже не знает, что делать со своей завистливой кузиной. По ее словам, кузина, кроме прочего, ведьма и все время насылает на нее духов-токолошей; она желает Симангеле смерти, чтобы получить ее мужа, Лавмора. Кто-то рядом со мной говорит:

Ц-ц-ц, так тебе и надо, думаешь, твое говно не воняет? Я оглядываюсь посмотреть, кто это сказал, и сестра Чипо, Констанс, зыркает на меня так, что я быстро отворачиваюсь.

Мы ждем, что Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро сейчас набросится на Симангеле за обращение к язычнику, как он называет Вадлозу, но тут из-за склона горы раздается женский крик. Несколько взрослых встают посмотреть, однако Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро резко велит им сесть, а затем просит всех евангелистов подняться во имя Иисуса и собраться с духом, так как Бог сказал ему, что сюда идет дьявол.

Дьяволом оказывается женщина в лиловом платье, задравшемся до бедер и обнажающем безупречно гладкую, словно у ангела, кожу. Несколько мужчин несут ее, с трудом продвигаясь к вершине. Я впервые вижу и эту женщину, и этих мужчин, но отмечаю, что она редкая красавица, даже Сбо с ней не сравнится. У нее длинные блестящие волосы, не натуральные, но все равно красивые, хорошая кожа, белые зубы; похоже, она не голодает. Только груди у нее не вяжутся с телом — каждая размером с голову младенца-уродца. Зачем ей такие?

На женщине — белые панталоны с красными

поцелуями; симпатичные панталоны, к тому же без единой дырки. Евангелисты с Профетом уже выкрикивают молитвы, даже не спросив, в чем дело. Затем они набрасываются на женщину и валят ее на землю. Она брыкается и бьется, как рыба на песке; ей очевидно не нравится, что с ней так обращаются, и она кричит, чтобы они перестали. Я беспокоюсь о ее платье и панталонах, о том, что ей поцарапают кожу, изваляют в грязи. Мужчины, принесшие женщину, отходят в сторонку и смотрят.

Оставьте меня, оставьте меня, вы, сукины дети! Вы меня не знаете! кричит женщина на Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро и евангелистов. Голос у нее злой, словно она убить их готова, но они ее даже не слышат; они выкрикивают молитвы. Я повторяю ее слова: Оставьте ее, оставьте ее, вы, сукины дети! Вы ее не знаете! Но тихонько, себе под нос.

Когда Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро дает знак, женщины встают стеной за ним и евангелистами, распевая, пританцовывая и размахивая Библиями. Некоторые молятся. Они делают это, чтобы Святой Дух сошел должным образом, но им приходится как бы контролировать свои голоса, чтобы не походить на язычников

у Вадлозы. Я видела их, этих язычников, призывавших предков за его лачугой: барабаны грохотали, мужчины рычали, женщины верещали, все скакали, извивались, иногда даже теряя одежды.

Красивая женщина продолжает кричать, чтобы сукины дети перестали, но сукины дети знают свое дело. Я пытаюсь поймать ее взгляд, показать ей, что я в этом не участвую, что я с ней, однако она слишком занята брыканием и криками, чтобы заметить меня. Молитвы звучат все громче и громче, кто-то молится как положено, кто-то на непонятных языках, кто-то нараспев.

Затем Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро поднимает обе руки, призывая всех притихнуть. Он указывает своей палкой на красивую женщину и, надрывая глотку, велит демону убираться из нее к чертям во имя Иисуса — его точные слова. Потом еще что-то говорит демону и даже ругается. Но, видя, что ничего не происходит, он утирает лоб рукавом, отбрасывает палку и кидается на женщину — ну чисто Халхоген[9], сминающий под собой ее дыни.

---

[9] Примечания: 9

Халхоген (*англ.* Hulkogen) — искаженное Hulk Hogan (Халк Хоган), псевдоним знаменитого американского рестлера Терри Джина Боллеа (род. 1953).

Вот так Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро и молится за женщину, прижав ее к земле, призывая Иисуса и выкрикивая стихи из Библии. Он хватает ее за живот, за бедра, затем кладет руку ей прямо туда и начинает наяривать и сурово молиться, как будто с женщиной что-то не так. Лицо его сияет, горит. Теперь красивая женщина похожа на тряпку, красота куда-то пропала, силы покинули ее. Я стараюсь больше не смотреть на ее лицо — не хочу, чтобы она заметила, что я вижу ее такой. Тут Чипо просыпается и озирается, словно давно потерялась и наконец нашлась.

Вот что он сделал, это и сделал, говорит Чипо и трясет меня за руку так, будто хочет оторвать. Чипо заговорила впервые за долгое время — наверное, на нее снизошел Святой Дух или вроде того. Ее голос звенит у меня в ушах. Молитвы вокруг нас звучат все громче; все радуются, что Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро одолел женщину. Мужчины, принесшие ее, ликуют, особенно высокий — судя по всему, ее муж, прихожане ликуют, Мать Костей ликует, а мне грустно, что красивая женщина беспомощно лежит под Профетом Ревелэйшнзом Битчингтоном Мборро, как Иисус, которого отдубасили и прибили к кресту.

Вот что он сделал мой дедушка. Я пришла с игры «Найди бен Ладена» бабушки не было дома а дедушка был и залез на меня и прижал вот так и зажал рот рукой и был тяжелый как гора, произносит Чипо скороговоркой, как Мать Костей. Я смотрю на нее: у нее такой взгляд, какого я никогда не видела, — полный боли. Мне хочется смеяться оттого, что к ней вернулся голос, но ее лицо смущает меня. Я вижу, она ждет, что я что-то скажу, может, что-то важное, и предлагаю: Хочешь, пойдем тырить гуавы?

Игра в страны

Внутри Шанхая творится какое-то безумие: машины перетаскивают вещи в своих ужасных челюстях, машины перемалывают грунт, машины дробят камни, машины изрыгают клубы дыма, машины утрамбовывают землю. Повсюду машины. И везде китайцы в оранжевой форме и желтых касках; их не так уж много, но они бегают туда-сюда, и от этого стройплощадка напоминает кукурузное поле. А еще есть чернокожие, работающие в простой одежде: рваных футболках, безрукавках, шортах, брюках, обрезанных до колен, спецовках, шлепках, кроссовках.

Какое-то время мы стоим у входа под здоровым красным баннером с красивым непонятным текстом, который не можем прочитать. Мы редко ходим в Шанхай, потому что это далеко, но сегодня МаС'банда, бабушка Сбо, заставила нас пойти, найти Моше, который тут работает, и сказать ему, чтобы шел в Парадайз, потому что она хочет поговорить с ним — не знаем о чем. Чтобы добраться сюда, нужно пройти Будапешт и двигаться по Масиефамбили-роуд на восток, до

огороженного забором карьера, где еще не так давно люди пытались выкапывать алмазы, пока их не прогнали солдаты. Шанхай находится на другой стороне карьера, за зарослями.

Они уже столько сделали? говорит Сбо в изумлении. С трудом верится, что они так много успели. Когда мы были тут в прошлый раз, рабочие выжигали траву, свозили технику и прочие вещи. А теперь здесь стоит каркас дома, да с таким видом, словно готов рыгнуть в лицо Богу.

Да, разве я не говорил вам, что китайцы насобачились? Я ведь не врал? Разве не круто все это? заявляет Бастард с довольным видом. И обводит все рукой, будто это он послал китайцев строить, будто они его ребята и исполняют его приказы.

А когда они закончат, там будет что-то с чем-то, вон там, сами увидите. И не говорите, что я вам не говорил, добавляет Бастард.

Тебя послушать, так они твой дом строят, говорит Стина.

Ну и что, что не мой? Круто же. Круто, круто, круто, произносит Бастард нараспев. Он направляется к зданию, и мы идем за ним.

На стройке люди не говорят, а орут. Ничего не разобрать, гомон напоминает молитву на раз-

ных языках; тут и китайский, и наши языки[10], и английский вперемешку с чем-то другим, и шум машин. Люди толком не понимают друг друга, поэтому машут руками и инструментами, дополняя слова. Когда мы подходим к черным, сгребающим лопатами землю в тачки, некоторые останавливаются и смотрят на нас. У них такой вид, словно они всю жизнь играли в грязи, — она у них на коже, на одежде, в волосах. Они не выглядят так, как обычно пытаются выглядеть взрослые, изображая из себя главных, поэтому нам их немножко жаль.

Мы стоим около труб, и Бастард кричит, что мы хотим видеть Моше. Никто сперва не отвечает, но потом один — черный как смола, сплошные мускулы — кричит, чтобы мы уматывали. Моше уехал в Южную Африку несколько дней назад, говорит он и дальше копает.

Правильно сделал, говорит Бастард.

Кто? говорит Сбо.

Моше.

Почему?

Потому что уехал в Южную Африку. Я тоже

[10] Примечания: 10

В Зимбабве 16 официальных языков. Основные — шона (примерно 70 процентов населения) и ндебеле, диалект зулу (примерно 20 процентов населения).

уехал бы вместо того, чтобы работать в таком отстойном месте. Посмотри, все грязные как свиньи, говорит Бастард и смеется.

Мы еще немного стоим, но вскоре, поскольку никто с нами не заговаривает, уходим. Дойдя до палатки у большого желтого бульдозера, останавливаемся и заглядываем внутрь. Мы пялимся туда, всматриваемся в темноту, но ничего не видим, и вдруг из палатки выходит толстый китаец; он застегивает ремень и замечает нас. Наверное, это бригадир, потому что, в отличие от остальных, одет в хорошие брюки, рубашку, пиджак и галстук.

Ситуация неловкая: ему очевидно неловко оттого, что мы стоим тут и подглядываем, а нам неловко оттого, что он увидел нас, но еще больше из-за того, насколько он толстый; другие китайцы, работающие тут, и вполовину не такие толстые — что же с этим не так? И тут, словно неловкости недостаточно, толстяк начинает лопотать с нами на своем языке, как если бы мы пришли в дом к его бабушке. Он лопочет, лопочет и, наконец, замолкает, глядя на нас с таким видом, будто ждет ответа. Чипо хихикает.

Да он чокнутый, говорит Стина.

Кто-то сказал Жирдяю, что китайский у нас

теперь государственный язык.

Гляньте на пузень — он словно страну проглотил.

В этот момент из палатки выходят две худенькие негритянки с наращенными волосами, в узких джинсах и на шпильках. Мы забываем о Жирдяе и смотрим, как они вышагивают мимо нас, и та, что худее, задевает меня большой голубой сумкой. Одинаковые побрякушки висят на их шеях, как удавки. Они вышагивают мимо бульдозеров, мимо гор гравия и мимо рабочих, которые, застыв, смотрят им вслед, пока девушки не выходят из Шанхая и не скрываются за поворотом у главной дороги.

Так, вам что-то нужно? говорит с расстановкой по-английски этот другой китаец нормальных размеров, подойдя к Жирдяю. Это рабочий; лицо его испачкано, он одет в оранжевую форму и каску, в одной руке держит веревку, а в другой — сигарету. Мы смотрим, как он затягивается, выдыхает, затягивается, выдыхает.

А что вы строите? Школу? Квартиры? Клинику? спрашивает Стина.

Мы строим вам большой-большой молл. Все классные магазины будут внутри: «Гуччи», «Луи Виттон», «Версаче» и прочие. Хороший молл,

большой, говорит китаец, стряхивая пепел с сигареты и поднимая взгляд на здание. Мы смеемся, и он смеется, и Жирдяй тоже смеется.

Дайте нам какой-нибудь дребедени. Раньше нам давали, переходит Гадноуз сразу к делу.

В прошлый раз нам дали черный пластиковый пакет, полный всякой всячины: наручных часов, бижутерии, шлепок, батареек, — но, как и те туфли, которые как-то раз купила мне мама, все это было дешевкой и продержалось несколько дней. Однако нам достались и прикольные коричневые печенюшки в пластиковых обертках. Они оказались хрустящими, а внутри, к своему удивлению, мы обнаружили бумажки со словами. Гадноуз прочел: Если съесть коробку печений с предсказаниями, то будет возможно все. Бастард прочел: Твои таланты получат признание и должное вознаграждение. Чипо прочла: Если я выпущу то, что таится внутри меня, то оно спасет меня. Сбо прочла: Ночная жизнь — это твое. Стина прочел: Новая пара туфель принесет тебе море радости; счастливые цифры 7, 13, 2, 9, 4. А я прочла: Тебя ждет счастливое и продуктивное будущее.

Один раз дали, и хватит. Теперь если хочешь мэйд-ин-Чайна, то иди работай, за так больше

ничего, говорит китаец.

Ну, вы же в нашей стране, а это что-нибудь да значит, говорит Стина.

Хотите, чтобы мы пришли ночью и все тут обкакали? Или украли что-нибудь? говорит Гадноуз, и китаец разражается таким смехом, что нам ясно: он ни слова не понял. Затем они с Жирдяем принимаются с серьезным видом лопотать — явно уже о чем-то другом. Мы ждем, пока нам не надоедает, пока Стина не говорит: Пойдемте уже, они ничего нам не дадут.

Уходя из Шанхая, мы свистим и улюлюкаем. Если бы не шум машин, китайцы услышали бы, как мы велим им убираться из нашей страны и строить там, откуда они пришли, как мы говорим, что не нужен нам их отстойный молл и что они вообще нам не друзья. Мы продолжаем вопить, проходя мимо черных, и тогда навстречу выходит тот, мускулистый, словно китайцы назначили его старшим, и перегораживает дорогу своей тушей. Он ни слова не говорит, но по его лицу ясно, что ему не слабо выжать камень досуха, поэтому мы затыкаемся и молча покидаем Шанхай.

Окей, значит так. Китай — это красный дьявол, который ищет людей, чтобы слопать и стать толстым и сильным. Теперь нам надо решить,

врывается ли он к людям в дома или просто поджидает в засаде в лесу, говорит Гадноуз.

Бессмыслица какая-то. Зачем ему расти толстым и сильным, если это дьявол? Разве он уже не такой? говорю я.

Мы вернулись в Парадайз и пытаемся придумать новую игру; это важно сделать, пока старые не надоели нам до смерти, но задача непростая, потому что приходится спорить и смотреть, сработает ли идея. Настала очередь Бастарда предлагать, о чем будет новая игра, и даже после такого утра он хочет, чтобы она была связана с Китаем, — не знаю, чего ради.

Я думаю, Китай должен походить на дракона, говорит Бастард. Тогда он будет реальной зверюгой, всегда на высоте.

Я думаю, это должен быть ангел, говорит Сбо. С какими-нибудь, типа, суперсилами, чтобы творить здоровские вещи; и все обращались бы к нему за помощью — ну, там, умоляли бы, танцевали, чтобы впечатлить его, напевая: Китай, Китай муджиба[11], Китай, Китай во! объясняет Сбо. И принимается танцевать под свою дурацкую песенку, явно довольная собой. Закончив,

[11] Примечания: 11

Муджиба (*англ.* Mujibha) — народное название зимбабвийской Национально-освободительной армии, синоним слова «патриот».

она два раза прокатывается колесом, и мелькают ее красные трусы.

Что ты творишь? говорит Бастард.

Да, садись, это полная чушь, кто станет играть в такой отстой? Я буду рисовать страны, говорит Гадноуз и берет толстую ветку.

И вскоре мы все уже чертим страны на земле, и у нас отлично получается, потому что она влажная после вчерашнего дождя. Для игры в страны рисуют два круга: один большой, а другой, внутри первого, поменьше, и в нем стоит ведущий. Внешний круг делят на несколько частей, по числу игроков, и расчерчивают поровну. Каждый игрок берет себе часть и пишет там свою страну, отсюда и название — «Страны».

Но сперва нужно побиться за имена, потому что все хотят быть определенными странами — типа США, Британией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Францией, Италией, Швецией, Германией, Россией, Грецией и прочими в таком роде. Это прямо страны-страны. Если же тебя побьют, то придется довольствоваться странами вроде Дубая, Южной Африки, Ботсваны, Танзании и других подобных. Это уже не страны-страны, но жизнь в них все равно получше, чем здесь. Никто не желает играть за Конго, Сомали, Ирак,

Судан, Гаити, Шри-Ланку или нашу страну — кому охота быть такой дырой, где все время голод и разруха?

Если мне везет, как сегодня, то я становлюсь США, а это страна-страна; кто не знает, что США — самый большой мировой бабуин? Я чувствую, что это, типа, и моя страна, потому что там живет тетя Фосталина, в Дестройдмичигене[12]. Как только она приведет дела в порядок, она прилетит и заберет меня, и я тоже буду там жить.

Распределив имена, мы голосуем за первого ведущего. Ведущий стоит в маленьком внутреннем круге и начинает игру. Все остальные стоят в большом круге, одной ногой — в своей стране, другой — снаружи.

Ведущий называет какую-нибудь страну, и игра начинается. Но ведущий называет не какую угодно страну; он должен быть уверен, что эту страну можно легко исключить. Это как с войной; ты ведь не пойдешь войной на кого-то, кто сильнее, — тебя отдубасят по полной. Вот и в игре в страны лучше называть кого-то, кто послабее, чтобы он не смог тебя побить. Когда ведущий называет страну, мы бросаемся врассыпную и

---

[12] Примечания: 12

Дестройдмичигене (*англ.* Destroyedmichygen) — буквально «разрушенный Мичиган», созвучно *англ.* Detroit Michigan — Детройт Мичиган.

бежим, как будто за нами полиция гонится, — за исключением названной страны; названная страна должна вбежать во внутренний круг и кричать: стоп-стоп-стоп!

Когда все останавливаются, новая страна во внутреннем круге решает, кого исключить. Для этого нужно допрыгнуть до одной из стран снаружи максимум за три прыжка. Легче всего назвать ближайшую к внешнему кругу страну, то есть ту, которая отбежала недалеко, — тогда точно допрыгнешь; когда страну исключают, она выбывает из игры и просто наблюдает. Но если ты новая страна во внутреннем круге и не можешь никого исключить за три прыжка, потому что замешкался и не сумел быстро остановить разбегающиеся страны, то выбираешь следующего ведущего и сам выходишь из игры. Так продолжается до тех пор, пока не останется одна страна, которая и выигрывает.

Игра в самом разгаре, мы вошли в азарт; Судан, Конго, Гватемалу, Ирак, Гаити и Афганистан уже исключили, и они сидят по краю и смотрят, как играют страны-страны. Убегая от Северной Кореи, мы вдруг видим, как в нашу сторону мимо Фамбеки едет большой грузовик НПО. Мы сразу бросаем игру и начинаем петь, плясать и скакать.

Чего мы реально хотим, так это сорваться с места и бежать навстречу грузовику, но знаем, что так нельзя. В прошлый раз мы побежали, и людей из НПО это не обрадовало, как будто мы совершили преступление против человечества. Поэтому теперь мы просто поем и ждем, когда грузовик сам к нам подъедет. Ожидание мучительно; мы смотрим, как машина становится все ближе и ближе, но при этом кажется такой далекой, словно она еще не здесь, а застряла где-то в другой стране. Именно из-за подарков, которые внутри, нам так трудно ждать и смотреть на то, как грузовик еле тащится.

НПО на этот раз запоздала; она должна была приехать пятнадцатого числа прошлого месяца, но так и не приехала, и пошел уже следующий месяц. Мы успели расчистить детскую площадку, на которой машина остановится. Наконец грузовик подъезжает, поднимая клубы пыли, подобно разъяренному монстру. Теперь мы поем и голосим во всю глотку, как сумасшедшие. Скалим зубы и вскидываем руки. Роем землю ногами. Щуримся от пыли, наблюдая за дверями грузовика и ожидая, когда оттуда выйдут люди НПО, при этом продолжаем петь и плясать. Мы знаем, что если постараемся и впечатлим их, то

они, возможно, дадут нам больше и будут давать и давать, пока мы не скажем: НПО, не губите нас, пожалуйста, своими дарами!

Из грузовика выходят люди НПО, все пятеро. Трое белых — две леди и мужчина, на которых лишь глянешь и поймешь, что они не местные, а также Сис Бетти, местная. Сис Бетти говорит на наших языках, и думаю, ее работа состоит в том, чтобы разъяснять белым людям о нас, а нам — о них. Пятый — водитель, который тоже, наверное, местный. Если не считать того, что он за рулем, важным он не кажется. Кроме водителя, все люди — в солнцезащитных очках. На нас смотрят глаза, которых мы толком не видим, потому что их скрывает стена черного стекла.

Одна леди пытается поздороваться с нами на нашем языке и ужасно запинается, так что мы смеемся и смеемся, пока она не здоровается по-английски. Сис Бетти разъясняет нам ее слова, хотя мы и так их понимаем; даже дерево понимает, ведь «хэллоу, чилдрен» — это и в Африке «хэллоу, чилдрен». Мы уже настолько взвинчены, что принимаемся хлопать в ладоши, но другая леди, маленькая и симпатичная, показывает, чтобы мы сели, и блестяшки на ее кольцах отражают солнце.

Когда мы садимся, мужчина начинает фотографировать большой камерой. Им просто нравится делать снимки, этим людям из НПО, как будто мы на самом деле их друзья и родные, как будто потом, вернувшись домой, они будут рассматривать фото и называть нас по именам перед другими своими друзьями и родными. Их не волнует, что мы чувствуем себя неловко из-за грязи и рваной одежды, что не хотим фотографироваться; они все равно снимают, долго и упорно. Мы не возражаем, потому что знаем: после снимков будет раздача подарков.

Затем человек с камерой велит нам встать и снимает дальше. Он не просит нас сказать «чиз», и мы не говорим. Замечая Чипо с ее животом, он застывает, пораженный, и я опасаюсь, как бы он не выронил камеру. Затем он вспоминает, зачем приехал, и снова принимается снимать, на этот раз одну Чипо. Словно она превратилась в Пэрис Хилтон — бесконечные щелчок-вспышка-вспышка-щелчок. В какой-то момент ей это надоедает, она поворачивается и с хмурым видом встает с краю группы. Кирпич и тот в курсе, что Пэрис не любит папарацци.

Затем фотограф принимается за черную задницу Гадноуза. Бастард показывает на него и

смеется, а Гадноуз оборачивается и закрывает дырки в шортах руками, прямо как тот нагой библейский персонаж, но у него не получается совсем прикрыть свою наготу. Мы все смеемся над Гадноузом. Когда фотограф переходит к Бастарду, тот снимает кепку и лыбится — типа он красавчик. И принимает разные позы: напрягает мышцы, упирает руки в боки, показывает пальцами галочку, встает на одно колено.

Ты не должен смеяться или улыбаться. И вообще валять дурака, говорит Гадноуз.

Ты просто завидуешь, потому что тебя снимали только из-за задницы. Грязной, драной, сраной задницы, говорит Бастард.

Ничего я не завидую. Чему тут завидовать, уродская морда? говорит Гадноуз, хотя может и получить за такие слова.

Что хочу, то и делаю, задница черная. К тому же я хочу, чтобы они увидели меня, когда будут смотреть на эти снимки. Не задницу мою, не грязную одежду, а меня.

Кто это будет смотреть на твои снимки? спрашиваю я. Кто увидит наши снимки? Но мне никто не отвечает.

После фотосессии настает время подарков. Сперва мы выстраиваемся в красивую очередь,

как муравьи, идущие на свадьбу, но, когда открывают кузов грузовика, превращаемся в ошалевших навозных мух. Мы пихаемся, толкаемся, визжим и кричим. Бросаемся вперед с протянутыми руками. Хотим хватать, владеть, набирать. Люди из НПО просто стоят разинув рты. Высокая леди в голубой шляпе кричит: Извините! Порядок! Попрошу порядок! Но мы лишь смеемся, мечемся, толкаемся и голосим, как будто даже слов не понимаем. Однако стараемся не касаться людей из НПО, потому что видим: хотя они и дают нам вещи, не желают касаться нас или чтобы мы касались их.

Взрослые выходят из лачуг и встают чуть поодаль, как будто их исключили из игры в страны. Мы понимаем: если бы не представители НПО, то они уже махали бы хворостинами или набросились бы на нас с голыми руками; да если бы не люди из НПО, мы вообще не посмели бы вести себя так. Но НПО здесь, а значит, с родителями можно не считаться. В итоге нас усмиряет Сис Бетти, хорошенько наорав, правда, на нашем языке, — наверное, чтобы остальные ничего не поняли.

Вы что творите, масаскум эвану ими? Лия-

ланя[13], думаете, эти денежные белые люди проделали весь путь от заморских ипапа, чтобы вы скакали перед ними, как бабуины? Вы хотите меня опозорить, а? Фуцекани, что вы как шуты зинья[14], а ну ведите себя смирно, или мы сядем в грузовик и сию минуту уедем со всем этим дерьмом! говорит Сис Бетти. А затем поворачивается к людям из НПО и улыбается, демонстрируя редкие зубы. Ей улыбаются в ответ с довольным видом. Может, они думают, что она просто сказала нам, какие они хорошие.

Мы прекращаем толкаться, прекращаем драться, прекращаем орать. Снова встаем в аккуратную очередь и терпеливо ждем. Очередь движется так медленно, что я готова заорать, но в конце концов мы все получаем подарки и радуемся. Каждому достается игрушечный пистолет, сладости и что-нибудь из одежды; мне выдали футболку со словом Google спереди и красное платье, тесное в подмышках.

Спаси большое, говорю я симпатичной леди, которая протягивает мне вещи, желая показать

---

[13] Примечания: 13

Masascum evanhu imi, liyahlanya — отбросы человеческие, ненормальные (*шона*).

[14] Примечания: 14

Zinja — здесь: собачьи (*коса*).

ей, что я знаю английский. Она мне ничего не отвечает, как будто я просто потявкала.

Когда мы получили свои вещи, подошли взрослые. Они встают в отдельную очередь, делая вид, что им все равно, что у них есть дела поважнее, чем стоять здесь. Но в действительности они все время жалуются, что НПО их забыла, что она должна чаще приезжать, НПО то, НПО се, как будто НПО — это их родители. Вскоре взрослые получают упаковочки с бобами, сахаром и кукурузной мукой, но по их лицам видно, что они недовольны. Они так смотрят на эти пакетики, словно видеть их не хотят, словно рассчитывали на что-то получше, но в итоге разворачиваются и расходятся по лачугам с тем, что им дали.

Одна только Мать-Любовь не встает в очередь за продуктами. Она стоит, как баобаб, глядя по сторонам, в ярком халате, усыпанном звездами. На лице у нее печаль. Одна леди из НПО снимает солнечные очки и машет Матери-Любви, но та, знай себе, стоит, не машет в ответ, не улыбается, ничего. Сис Бетти протягивает ей несколько упаковок.

Хаву, Мать-Любовь! кричит Сис Бетти слащавым голосом, словно умасливает глупого ребенка.

Подходите, пожалуйста, банту[15], не видите, мы вам подарки принесли? говорит она. НПО протягивают Матери-Любви еще упаковки, и две белые женщины даже оскаливают зубы, как собаки. Все ждут, что сделает Мать-Любовь. Она разворачивается и удаляется с высоко поднятой головой, браслеты звенят на ее руках, звезды блестят на халате, в воздухе после нее остается лимонный аромат.

Когда грузовик НПО наконец уезжает, мы срываемся и бежим за ним; мы получили что хотели, и нам плевать на то, как, по их мнению, мы должны себя вести. Мы машем своими игрушечными пистолетами и подарками и выкрикиваем, что хотим получить в следующий раз: туфли, кеды «Ол Старс», мячи, мобильники, печенье, нижнее белье, напитки, пирожные, доллары США. Рев мотора заглушает наши голоса, но мы продолжаем бежать и кричать. Добравшись до Мзиликази, мы останавливаемся, потому что на дорогу нам нельзя. Сбо кричит: Возьмите меня с собой! И все мы кричим разные слова, кричим и кричим, словно кто-то сказал нам, что грузовик развернется и заберет того, кто будет кричать громче других.

---

[15] Примечания: 15
Bantu — люди (*шона*).

Мы смотрим, как грузовик становится все меньше и меньше, пока не превращается в точку, и, когда он наконец исчезает, разворачиваемся и идем обратно к хибаре. Теперь, когда грузовик совсем исчез, мы больше не кричим. Мы тихие, как могилы, на лицах печаль, как у взрослых, возвращающихся с похорон. Затем Бастард говорит: Идемте играть в войну. И мы срываемся и бежим убивать друг друга новенькими американскими пушками.

Реальные перемены

Взрослые готовятся голосовать, поэтому в Парадайзе все не как всегда. Когда мы просыпаемся, мужчины уже сгрудились под жакарандой, но на этот раз они не склоняются над шашками, нет. Они сидят ровно, выпятив груди, высоко подняв головы. Они надели рубашки, причесались и снова выглядят реальными людьми.

Когда мы проходим, они улыбаются и машут нам, будто действительно видят нас, будто вдруг подобрели к нам, будто мы их новые друзья. Нас удивляет, что они еще помнят, как надо улыбаться, но сами в ответ не улыбаемся. Просто стоим вместе и внимательно смотрим на них: на волоски, торчащие из-за воротников, на лбы, всегда готовые пойти морщинами, на глаза, умеющие метать молнии, когда они злятся, на кирпичи в их в руках, которыми нас отделывали, и понимаем, что эти улыбки ничего не значат.

Теперь голоса мужчин за разговорами буквально прожигают воздух, так что он дымится. Мы слышим о переменах, о новой стране, о демократии, о выборах и всяком-разном.

Они говорят и говорят, эти мужчины, облизывают губы, смотрят на мертвые часы на запястьях, встряхивают руками и хлопают друг друга, смеясь так, словно гром проглотили. Мы слушаем, пока не становится скучно, но понимаем — по лицам мужчин, по их голосам, — что то, о чем они говорят, должно быть чем-то хорошим.

Женщины, когда слышат мужчин, смеются. Теперь в глазах женщин что-то почти очаровательное, и по ним видно, что они наводили красоту. Накрашенные губы. Уложенные волосы. Розовая ленточка, приколотая к платью над левой грудью. Широкий фигурный пояс. Браслет из ржавой скрученной проволоки. Меховое пальто, из которого вылез почти весь мех. Цветок за ухом. Волосы, разглаженные раскаленным камнем. Сережки из цветастых семян. Яркие лоскутки, нашитые на юбку. Мы давненько не видели женщин такими и из-за их красоты хотим любить их.

Что бывает, когда взрослые идут и голосуют? спрашивает Гадноуз. Мы заняты тем, что расклеиваем плакаты «Перемены, реальные перемены», как велели нам Борнфри и Мессенджер. Мы должны наклеить по плакату на дверь каждой лачуги, чтобы напомнить людям, что им надо пойти и

проголосовать двадцать восьмого.

Ты вообще не слушал взрослых? говорит Сбо. Будут перемены.

Да, но что это конкретно за перемены? говорит Гадноуз. Он только что повесил плакат и теперь всматривается в него так, словно у того есть глаза, словно это человек. Сбо начинает объяснять, но затем наклоняется, подбирает осколок зеркала и улыбается в него, любуясь собой.

Мы продолжаем клеить плакаты; на самом деле перемены нас не волнуют, и мы занимаемся этим только потому, что у Борнфри, по его словам, есть немного китайских ямсов и он отстегнет нам, когда мы закончим. Может, мы пойдем к Зеленому Зонке и купим что-нибудь на ямсы. Я никогда еще не видела китайских денег, но точно знаю, что туфли их — просто отстой; я надевала их всего четыре раза, и они развалились.

Знаете, однажды я стану президентом, говорит Бастард. Мы уже расклеили большую часть плакатов и подходим к последним лачугам, ближайшим к кладбищу Хэвенвэй.

Президентом чего? говорю я.

Президентом страны, этой страны, говорит Бастард. О чем, по-твоему, я твержу, коза тупая?

Но ты должен быть старым, очень старым, что-

бы стать президентом, говорит Стина.

Кто это тебе сказал? Откуда ты знаешь? говорит Бастард, пришлепывая плакат к двери. Он делает это с такой силой, что жесть дрожит, и раздается голос: Вы, повредите мне дверь, будете наждачкой подтираться, дурачье! Мы переглядываемся и хихикаем, прикрывая рты. В ответ Бастард поднимает кулак и замахивается на лачугу. Его плакат висит криво, но он не пытается поправить его. И оглядывается через плечо на Стину.

Я спросил, откуда ты знаешь? повторяет Бастард.

Знаю, говорит Стина. Я видел фотографию президента в журнале. И с ним были президенты Замбии, Малави, Южной Африки и еще другие. Все они старые; тебе сперва надо стать, типа, дедушкой.

Плакат Бастарда падает, он подбирает его и разрывает надвое. Затем вытягивает ногу и сворачивает на бедре бумажную трубочку — типа сигарету. Сует трубочку в рот, лезет в карман и достает коробок спичек. Мы все смотрим, как он зажигает свою сигарету и курит.

Что ты делаешь? говорю я.

Не видишь, тренируется? говорит Гадноуз.

Неважно, говорит Бастард. Неважно, что я буду

старым и седым, главное — при деньгах. Президенты очень богаты, говорит он. И смеется, как все мужчины, затем затягивается своей сигаретой, задыхается от дыма и кашляет, кашляет и сплевывает. Никто не просит у него покурить.

Наконец все двери обклеены плакатами, кроме двери Матери Костей; она предупредила, что убьет нас, если мы повесим на ее лачугу эту ахинею. Теперь, со всеми этими плакатами, Парадайз преобразился. Мы собой гордимся; хлопаем в ладоши, пляшем и смеемся.

Давайте петь Леди Гагу, говорит Сбо.

Нет, давайте петь государственный гимн, как на школьных собраниях, говорю я.

Да, давайте, а я, я пойду впереди, потому что буду президентом, говорит Бастард. Мы выстраиваемся в шеренгу возле лачуги Мёрджери и поем во весь голос, поем, пока детвора не выходит и не облепляет нас, но они знают, что с нами им нельзя.

Ню-ка, ню-ка, ето нада снять, хде мая камера? кричит Гадноуз, передразнивая фотографа из НПО, и мы смеемся, смеемся и смеемся. Гадноуз бежит, хватает один из кирпичей с дырками, поднимает его, словно камеру, и снимает нас, снимает, снимает. Мы улыбаемся и принимаем

позы, красуемся и кричим: Чиз! Пис! Перемены!

Я не сплю. Просто мама рассчитывает, что я буду спать, вот я и закрыла глаза. Мать Костей рассказывала, что заяц спит с открытыми глазами, поскольку за ним вечно охотятся. Так он всех дурачит; когда глаза у него закрыты, он на самом деле не спит. Я сейчас заяц, но надо постараться, чтобы меня не заметили, потому что мама ходит туда-сюда. Она так расхаживает, как будто мы живем в Будапеште.

Мы ведь не всегда жили в этой жестянке. Раньше у нас был дом и все такое, и мы были счастливы. Настоящий дом из кирпичей, с кухней, гостиной и двумя спальнями. Настоящие стены, настоящие окна, настоящие полы, настоящие двери, настоящий душ, настоящие краны с настоящей проточной водой и настоящий туалет, на котором можно сидеть и делать что тебе надо. У нас были настоящие диваны, и настоящие кровати, и настоящие столы, и настоящий телик, и настоящая одежда. Все настоящее.

А теперь у нас только эта маленькая кровать, установленная на кирпичи и доски. Мама сама ее смастерила, ей помогала Мать Костей. Матрас набит целлофаном, куриными и утиными перьями, старыми тряпками и всякой всячиной. Это

родительская кровать, но отец не живет с нами и не спит на ней, потому что он в Южной Африке. Он не приезжает повидать нас и не привозит никакие вещи, отчего мама иногда нервничает, иногда злится, а иногда ругает его. Мама жалуется, что отец ничего для нас не делает. Ни с нашим жестяным домом, ни с Парадайзом, ни с едой, которой нет, ни с одеждой, какую она хотела бы, — ни с чем вообще.

Мама уже сидит на кровати, я понимаю это по звукам, которые издает матрас. Он по-разному звучит в зависимости от того, как на нем сидят или лежат. Мама молчит; мне интересно, о чем она думает. Иногда она просто молчит, как сейчас, обхватив голову обеими руками, словно это тяжелый арбуз и кто-то ей сказал: Смотри, упадет голова и расколется на красные куски — не соберешь.

Затем я слышу очень мягкий стук в дверь. Снова тот мужчина. Я не знаю его имени, но знаю, что это он и никто другой, потому что он всегда стучит пять раз, не четыре и не шесть, а только пять, и всегда так мягко, будто боится помять жесть. Мама натягивает одеяло мне на голову, задувает свечку и открывает дверь. Но чего она не знает, так это того, что я всегда не сплю почти

все время, когда это случается, я ведь заяц.

Я слышу, как скрипит дверь и мама что-то шепчет мужчине, а он — ей. Не могу разобрать слова; они переговариваются, как воры.

Затем мама смеется. Мне нравится этот ее смех. Она так смеялась раньше, когда мы жили в доме. Не знаю, что сказал этот мужчина, чтобы мама засмеялась. И какой он из себя, тоже не знаю, потому что в темноте не видно. Я и имени его не знаю, но знаю, что он мне не нравится. Он никогда не спрашивает обо мне, словно я какая-то далекая страна. И никогда ничего нам не приносит. Просто приходит в темноте, как призрак, и запрыгивает на кровать с мамой.

Теперь мама охает; мужчина часто дышит. Кровать покачивается, будто поезд, который везет их к чему-то важному, куда надо успеть. Наконец поезд останавливается, выплевывает их на целлофановую кровать, и мужчина издает жуткий стон. Вскоре мама и мужчина затихают; мне больше ничего не слышно, лишь чье-то тяжелое дыхание. Может, они спят, но утром мужчины не будет; он встает и выскальзывает ночью, и, когда приходит день, его уже нет, словно он слишком ужасен, чтобы показываться при свете.

Я считаю в уме; так я не засну. Никто не зна-

ет, что иногда я не сплю. Я заяц. Даже если мне хочется спать, я не могу, потому что иначе мне приснится сон, а я не хочу, чтобы он снился. Я боюсь бульдозеров, и тех мужчин, и полицию, боюсь, что если позволю им присниться, то они вылезут из сна и станут реальными. Мне снится, что случилось с нашим домом перед тем, как мы переехали в Парадайз. Я пытаюсь и пытаюсь отогнать это, но сон возникает снова и снова, как пчелы, как дождь, как могилы на Хэвенвэе.

В моем сне, который не прямо сон-сон, потому что все произошло на самом деле, приезжают рокочущие бульдозеры. Но прежде чем их увидеть, мы их слышим. Мы с Таму, Жозефатом, Нкане, Мудивой и Вероной играем на улице с новым мячом Мора и вдруг слышим гром. Тогда Нкане говорит: Что это? Жозефат говорит: Это дождь. Я говорю: Нет, это самолеты. А дедушка Манеру бежит по Фридам-стрит без своей трости и кричит: Они едут, Иисус Христос, они едут! Все стоят на улице, вытянув шеи в ожидании. Затем кричит мама: Дарлинг-давай-быстро-в-дом! Но бульдозеры уже рядом, большие, желтые и ужасные, с металлическими зубьями, в клубах пыли.

Водители бульдозеров смеются. Я слышу, как взрослые твердят: За что, за что, за что, что мы

сделали, что мы сделали, что мы сделали? Затем в грузовиках приезжают полицейские с ружьями и дубинками, и мы бежим и прячемся по домам, но прятаться бесполезно, потому что бульдозеры начинают бульдозить и бульдозить, и мы кричим и кричим. Отцы машут руками, как женщины, и ругаются, и пинают камни. Женщины зовут во весь голос детей, не зная, где мы, и хватают вещи из домов: тарелки, одежду, Библию, еду, — просто хватают все, что могут. Кругом клубится пыль от рушащихся стен; она лезет нам в волосы, рты и носы, и мы кашляем и кашляем.

Бульдозеры сносят наш дом, и дом Нкане, и дом Жозефата, и дом Бонги, и дом Сибо, и еще много домов. Бумбац-бумбац-бумбац: мужчины управляют металлом, металл крушит кирпич, кирпич крошится. Когда они подбираются к дому Маи Тари, она бросается перед бульдозером и говорит: Квете[16]! Сперва меня задави, дерьмо ты собачье, прежде чем снести мой дом. Один страшный полицейский приставляет ствол к ее голове, оттесняя ее, и она говорит: Убейте меня, давайте, убейте, вы же бессовестные, вы родную

[16] Примечания: 16
Kwete — нет уж (*шона*).

мать убьете и сожрете, имбва[17]! Полицейский не убивает Маи Тари, только бьет пистолетом по голове, потому что все уставились на него и ему, наверное, надо показать, какой он важный. Из головы Маи Тари хлещет кровь, и ботинки полицейского становятся красными-красными.

Когда бульдозеры наконец уезжают, все разбито, все поломано, все разрушено. Кругом грустные лица, кругом удушающая пыль, кругом развороченные стены и кирпичи, кругом слезы на лицах людей. Гайигусу пинает босыми ногами битый кирпич, срывает с себя рубашку, тычет пальцем в ужасный шрам, пересекающий его спину, и ревет: Это у меня от освободительной войны, салилвэлилизве лели[18], мы сражались за этих чертовых лизве мани, мы привели их к власти, а сегодня они набросились на нас, как змеи, тьфу! И сплевывает. Отец Мусы стоит, засунув руки в брюки, и ничего не говорит, но брюки у него мокрые спереди. Маленький Тендаи указывает на него и смеется.

От автобусной остановки к нам бежит Номвийо в красных туфлях на шпильках, она только вер-

---

[17] Примечания: 17
Imbwa — собаки (*шона*).

[18] Примечания: 18
Salilwelilizwe leli — мы единая страна (*коса*).

нулась из города. Она видит все разбитые дома и бросает все свои покупки и сумки с криком: Мой сын, мой сын! Что случилось? Я оставила Фридама спать! Ей помогают копаться в обломках, а затем появляется Макубонгве с Фридамом на руках, и тельце его такое обвисшее и покрытое пылью, словно это просто вещь, а не ребенок. Номвийо смотрит на эту вещь, бывшую ее сыном, потом бросается на землю и катается, катается, разрывая на себе одежду, пока не остается в одном черном лифчике и трусах. Матери кричат, чтобы мы закрыли глаза руками, и мы закрываем, только я смотрю между пальцами; Номвийо льет слезы и бьется о землю головой и руками, пока кто-то не оборачивает ее серым одеялом и не уносит.

Позже приходят люди с камерами в футболках с надписями BBC и CNN, глядят, и качают головами, и снимают нас, типа мы красавчики, и один из них говорит: Тут словно цунами пронеслось, Иисус Христос, какое-то ебучее цунами все разворотило. Я спрашиваю у Вероны: Что значит «ебучее цунами»? И она отвечает: Ебучее цунами ходит по воде, как Иисус Христос, только это дьявол, разве ты не видела по телику, как он вышел из воды и поубивал всех людей в другой стране?

Плохой это сон, и я не хочу, чтобы он мне снился, поэтому я заяц. Мамин мужчина храпит; ненавижу тех, кто храпит, потому что это уродский звук, попробуй тут усни. На улице поет Мать-Любовь. Никто больше так не поет в Парадайзе, голос раскачивается, будто спелый плод, который можно сорвать, положить в рот и почувствовать сладость. Когда слышишь, как поет Мать-Любовь, понимаешь, что ее шалман открыт, и люди могут приходить и выпивать.

В тот день, когда взрослые идут голосовать, мы стоим на краю Парадайза, возле кладбища, и смотрим, как они уходят. Они уходят молча, никакой обычной трепотни. Мы тоже притихли, потому что никогда еще не видели их молчаливыми — во всяком случае, настолько. Нам хочется, чтобы они открыли рты и заговорили. Заговорили о выборах, о демократии, о новой стране, как говорили все это время. Нам хочется, чтобы они оглянулись через плечо и сказали, что выяснят, чем мы без них занимались. Хочется, чтобы они сказали что-нибудь, но они просто молча уходят, словно вдруг потеряли уверенность, словно что-то подкралось к ним, пока они спали, и отрезало им языки.

Когда они наконец удаляются по Мзиликази,

мы не бежим в Будапешт, хотя сами себе хозяева. Не идем на Хэвенвэй читать имена мертвых, не разжигаем огонь и не забираемся в лачуги, чтобы примерить одежду взрослых и покопаться в их вещах. Не играем ни в «Найди бен Ладена», ни в страны, ни в виллибол, ни во что. Просто идем под жакаранду и тихо сидим там все утро и весь день.

Может, они вообще не вернутся, говорит Гадноуз. Никто ему не отвечает — никому не хочется думать о том, что взрослые не вернутся.

Может, там вечеринка и они без нас пируют и танцуют, говорит Гадноуз. Мы не сводим глаз с детской площадки, откуда взрослые должны появиться. Но там только деревья, сухая трава, бурая земля, Фамбеки и пустота.

А может, они еще голосуют. Может, все взрослые в этой стране пошли голосовать за перемены, и их набралось столько, что надо стоять в бесконечной очереди. Может, очередь не движется — типа как к врачу. Может, очередь никогда не кончится, говорит Гадноуз.

У кого-то в животе громко урчит, и я вспоминаю, что голодная. Мы все голодные, но нам все равно. Все, чего мы хотим, — это увидеть, как возвращаются взрослые; мы так отчаянно хотим

увидеть их, словно готовы съесть живьем.

Они придут. Может, они уже на той стороне Фамбеки и появятся с минуты на минуту, говорит Гадноуз. Он встает и обхватывает руками свою овальную голову. Начинается дождик, будто это Гадноуз вызвал его своей болтовней. Дождик легкий, такой, который просто лижет тебя. Мы сидим под ним и вдыхаем чудесный запах земли.

Я, если что, скучаю по маме, говорит Гадноуз после долгого молчания. Голос его приглушает дождь; я смотрю на его лицо — оно мокрое, и я не знаю, где дождь, а где слезы. Я думаю, что тоже скучаю по маме, мы все скучаем по мамам, хотя, когда они здесь, почти не обращаем на них внимания. Затем, совсем скоро, даже раньше, чем мы успеваем промокнуть, дождь заканчивается, и выходит пронзительное солнце, словно хочет показать дождю, кто есть кто. Мы сидим и варимся под ним.

К тому времени, как взрослые возвращаются, нас уже мутит от ожидания. Мы видим, как первые из них появляются из-за Фамбеки, и встаем. Они словно парят в воздухе и разговаривают руками, и, хотя они далеко, нам ясно: они счастливы. Мы забываем, что они нам, вообще-то, не друзья, и срываемся навстречу. Налетаем на них,

и нас подхватывают руками, испачканными черными чернилами — потому что, как они говорят, они голосовали отпечатками пальцев. Нас подхватывают и подбрасывают в воздух, так высоко, что голубое небо оказывается совсем близко — можно высунуть язык и ощутить его вкус.

Той ночью никто не спит. Мы все идем в лачугу Матери-Любви, самую большую в Парадайзе; взрослым в ней даже не нужно пригибаться. Мать-Любовь обычно варит днем самогон в большом металлическом мадрамузе, а вечером люди приходят к ней и выпивают. Лачуга ее покрашена прикольной краской и в темноте сияет, как живая. Мы всегда ждем, когда она зажжется, и тогда все устремляемся к ней, затаив дыхание, словно под водой. Мы подходим к лачуге, касаемся кончиками пальцев и разбегаемся по домам, крича: Огонь! Огонь!

Мы набиваемся в лачугу Матери-Любви, как песок, и становится душно и жарко, пахнет взрослым потом, подмышками и самогоном. Взрослые передают самогон из рук в руки и даже нам — ведь, по их словам, грядут перемены. Мы не пьем его, потому что он обжигает губы и щиплет носы; просто стоим, сложив руки, и смотрим, как пьют взрослые, обжигая себе глотки, смеясь, и болтая,

и всяко-разно.

Затем Мать-Любовь встает у большущего изображения Иисуса и принимается петь. Сперва все притихают, словно не понимают, зачем им музыка, а потом начинают покачиваться. Вскоре они уже крутятся, вертятся, извиваются, шаркают и раскачиваются. Мать-Любовь запрокидывает голову, закрыв глаза, будто пьет душный воздух. Рот ее едва приоткрыт — типа ей и не хочется петь, но ее голос вскипает внутри и все вокруг заполняет паром. Затем взрослые подхватывают нас и кружат, кожа их, потная и теплая, прижимается к нашей.

Готовьтесь, готовьтесь к новой стране, не будет больше этого Парадайза, говорят они, ставя нас на ноги. Они произносят «Парадайз» так, как никогда больше не станут произносить: слог «па» звучит, словно что-то лопнуло; на «ра» они рычат дольше обычного; на «дай» раскрывают рты до предела; и, наконец, на букве «з» свистят, будто из колес автобуса выходит воздух. И когда они сказали это вот так: «Па-ра-дай-з», мы поняли, что скоро покинем это место, — как в Библии люди покинули ужасное место, и старик с длинной бородой, похожий на рождественского деда, вышел на дорогу с палкой, а за ним текла река.

Как их принесло

Они не пришли в Парадайз. Прийти значило бы, что они могли выбирать. Что они сперва посмотрели на солнце, уселись, скрестив ноги, поковырялись в зубах и взвесили свое решение. Что у них было время поглазеть на собственные отражения в длинных зеркалах, может, поправить волосы, подтянуть ремни, проверить часы на запястьях, а потом уже посмотреть на красную дорогу и, наконец, объявить: Ну, теперь мы к этому готовы. Нет, они не пришли. Их просто принесло.

Их приносило по одному, по двое, по трое. Приносило вереницами, как муравьев. Стаями, как мух. Разъяренными волнами, как бушующее море. Приносило ранним утром, днем, поздней ночью. Приносило в пыли от их разрушенных домов, прилипшей к коже, волосам и одежде, делавшей их похожими на выходцев с того света. Приносило с распухшими лодыжками и волдырями на ступнях, уставших от долгой ходьбы. Приносило с палками в руках, которые они осторожно передавали друг другу, чтобы отчертить

на земле начало и конец лачуги; они размечали новую землю дрожащими руками, будто что-то убивали. Садясь на корточки и помечая вот так землю, они казались людьми-руинами.

Их приносило с кусками жести, фанеры, пластика, с гвоздями и прочими вещами для строительства, и они старались выглядеть спокойными, строя лачуги, прибивая жесть к жести, кусок за куском, храбро поднимая глаза к небу и пытаясь сказать себе и друг другу, что даже здесь, в этом неизвестном новом краю, небо все такое же голубое, а значит, все у них получится. Но очень многих приносило без того, в чем они нуждались.

Женщина, где черный табурет моего деда? Я не вижу его здесь.

Ты чего, спятил, старик? У меня даже детской одежды не хватает, а ты переживаешь о табурете своего покойного деда?

Ты же знаешь, это фамильная вещь: мой прапрадед, Синдимба, передал его своему сыну, Салилу, а тот — своему сыну, Нгало, а тот — своему сыну, Мабхаде, а тот передал его мне, Мзилавуланделве, чтобы я передал его моему сыну, Вулиндлеле. А теперь он пропал! Как же так?

Это не я убила Иисуса Христа и Мбую Не-

ханду[19]; пошел бы к тем, кто устроил все это.

Я только говорю, что в этом табурете была вся моя история…

Вот так они и оплакивали пошедшее прахом прошлое.

Были и такие, кто хранил молчание, не находя слов, и долгое время бродил в безмолвии, подобно мертвецу, вернувшемуся с того света. Но со временем они вспоминали, что надо открыть рот. Голоса их возвращались, словно воры, крадущиеся на цыпочках в темноте, и вот что они говорили:

Зря они с нами так, ох как зря. Салилвэлилизве лели, мы сражались за свободу этой страны.

Разве не так было до независимости? Помните, как белые сгоняли нас с нашей земли в эти поганые резервации? Я там был, вы там были, разве не то же самое?

Нет, то были белые злодеи, они пришли украсть нашу землю и сделать нас голодранцами в нашей же стране.

А сейчас ты не голодранец? Разве не злодеи эти

---

[19] Примечания: 19

Неханда Чарве Ньякасикана, также известная как Мбуя Неханда (ок. 1840–1898), — свикиро (духовный медиум) народа зезуру шона. Была в числе предводителей восстания Чимуренга, поднятого против британской колонизации земель Зимбабве. Схвачена и казнена британскими властями.

черные, которые сровняли твой дом с землей и оставили тебя ни с чем?

Вы все не правы. Лучше уж белый вор творил бы такое, чем черный брат. Лучше бы поганый белый вор.

Вроде все то же, да не то же. Так или иначе, теперь мы здесь, в этом Парадайзе. Ни с чем.

И они были ни с чем, не считая, конечно, воспоминаний, как своих, так и тех, что достались им от матерей и матерей матерей. Народной памяти.

Некоторых приносило с детьми на руках. А многие вели детей за руки. Сами дети выглядели ошарашенными; они не понимали, что происходит. И родители прижимали их к груди и гладили по пыльным взъерошенным головам мозолистыми ладонями, стараясь успокоить, но на самом деле просто не зная, что сказать. Постепенно дети перестали задавать вопросы и смирились, словно детство покинуло их, оставив за собой лишь кости от собственной тени.

Мать-Любовь принесло с огромными чанами для варки самогона, дающего людям забвение. С чанами она принесла песни и рюкзаки, полные цветастых платьев. Несмотря на обстоятельства, она не собиралась падать духом.

Мужчины же всегда старались казаться сильными; они ходили прямые, с гордо вскинутыми головами, руки вдоль тела, ноги как деревья. Не люди, а стены Иерихонские. Но когда надо было отойти в кусты по нужде и никто не смотрел, эти стены обрушивались, они напоминали обездоленных сирот и плакали, словно брошенные наложницы.

Возвращаясь к своим женщинам, и детям, и всем прочим, они засовывали руки глубоко в худые карманы, пока не упирались в сухие бедра, пинали камешки под ногами и снова возводили из себя стены, но где им было обмануть женщин, познавших все способы плакать и все виды обездоленности; тогда женщины тихонько отвлекались от хозяйства, отряхивали пыль с юбок и вставали, точно скалы, перед своими мужчинами, детьми и лачугами, и только в эти моменты все казалось почти сносным.

Нам нужны новые имена

Сегодня мы раз и навсегда уберем живот Чипо. Во-первых, он мешает нам играть, а во-вторых, если мы дадим ей родить, то она просто умрет. Мы слышали вчера, как женщины говорили о Носизи, низенькой светленькой девушке, которая увлеклась мужем МаДумэйн, когда МаДумэйн уехала в Намибию работать сиделкой. Так вот, Носизи умерла при родах. Роды только так убивают.

Из хибары мы выходим тишком, чтобы взрослые не узнали. И не берем мальчишек, Бастарда, Гадноуза и Стину, потому что это чисто женское дело, так что идем лишь я, Сбо и Форгивнесс. Форгивнесс нам не то чтобы подруга-подруга, ее семью принесло в Парадайз недавно, и, значит, она тут не своя. Плюс ко всему она вообще не как мы; если к ней присмотреться, то видно, что кожа у нее слишком светлая, а волосы как будто не знают, хотят они кудрявиться или нет. Может, она просто родилась такой, а может, Бог не смог решить, сделать ее черной, белой или вовсе альбиноской. Мы пока присматриваемся

к Форгивнесс, но сегодня берем ее с собой, потому что нам со Сбо нужен кто-то еще — Чипо сама не справится.

Мы устраиваемся под мфафой за Хэвенвэем; дерево дает хорошую большую тень. Для начала Сбо расстилает на земле нцаро своей мамы. Она не говорит, как взяла нцаро, но мне и так ясно, что стырила, ведь ни одна мать в Парадайзе не даст свои вещи, чтобы их изваляли в грязи. Чипо не теряет времени, наверное, потому, что боится умереть; она быстро забирается на нцаро и ложится на спину, жмурясь от солнца.

Я начинаю собирать маленькие камни, но, набрав штук семь, передумываю. Выбрасываю их и принимаюсь собирать камни покрупнее. Я еще не решила, что именно мы будем с ними делать, но, поскольку никто меня не спрашивает и не останавливает, собираю и собираю. Собираю. Может, мы расшибем ими живот, не знаю. Довольно скоро возле Чипо, у ее плеча, образуется аккуратная кучка. Я похлопываю по кучке, проверяя ее устойчивость.

Форгивнесс нашла ржавую вешалку для одежды и возится с ней. Мы не спрашиваем ее, для чего, но я прислоняюсь к дереву и смотрю, как она ее раскурочивает. Прикусив нижнюю губу, она рас-

кручивает вешалку, не желающую поддаваться. Из-за куста появляется Сбо с помятой металлической кружкой, половиной коричневого мужского ремня и круглой лиловой штукой, совершенно непонятной. Она выкладывает добычу рядом с моими камнями, и все вместе выглядит довольно внушительно. Чипо лежит и улыбается нам, и мы знаем: она рада, что не умирает, как и то, что не дадим ей умереть.

Ты не хочешь пописать? говорит Сбо, глядя на меня.

Нет. Не знаю, а что? говорю я.

Потому что нам нужна моча, говорит она.

Нам нужна моча?

Ну, я могу пописать, говорит Форгивнесс, но Сбо даже не смотрит на нее.

Я писала прямо перед выходом, так что во мне мочи не осталось, говорит Сбо.

Я сказала, я могу пописать, снова говорит Форгивнесс, повышая голос. Она почти закончила разбирать вешалку.

Я тебя слышала; думаешь, я глухая? Это должна быть моя моча или Дарлинг, не забывай, мы тебя еще не знаем, говорит Сбо, и я улыбаюсь, радуясь, что она сказала это Форгивнесс.

Ну, тогда я пописаю, говорю я, чувствуя свою

важность. Я хочу пописать.

Писай сюда, велит Сбо, протягивая мне мятую кружку. Внутри — паук и паутина, поэтому я беру палку, чтобы раздавить паука, но потом решаю перевернуть кружку и постучать о камень. Паук уползает, и я счищаю паутину палкой. Затем ставлю кружку на землю и сажусь над ней, повернувшись ко всем спиной, чтобы не смотреть никому в глаза, когда буду писать.

Сначала из меня течет по капле; так обычно и бывает, если кто-то глядит, как ты писаешь. Я выдавливаю еще несколько капелек, словно лимон выжимаю, а после крепко зажмуриваюсь и сосредоточиваюсь.

Что ты так долго? говорит Форгивнесс, недовольная такая, типа она тут самая главная.

Оставь ее в покое, не твоей же штучкой она писает, говорит Сбо. И когда я уже начинаю думать, что ничего не выйдет, у меня получается, поэтому я поворачиваюсь и зыркаю на Форгивнесс выразительно, как бы говоря: Ну скажи еще что-нибудь, угу, угу. Потом аккуратно беру кружку, теперь уже теплую, с пеной примерно до половины. Я протягиваю кружку Сбо, она бросает туда щепотку земли, размешивает палкой и протягивает Чипо, которая садится, берет ее и

молча выпивает.

Сбо велит Чипо снова лечь, а сама садится на корточки и задирает ее платье до самой груди, оголяя растущий живот. Под платьем на Чипо надеты мальчиковые трусы цвета хаки. На бедре у нее — длинный шрам, это она напоролась на сломанную ветку, когда мы тырили гуавы и внезапно возникшие хозяева дерева гнали нас до самой дороги. Мы со Сбо начинаем тыкать пальцами в живот Чипо. Спереди он твердый, словно она камней наглоталась, а по бокам мягкий.

Щекотно, говорит Чипо — к ней уже вернулась речь. Она закрывает лицо руками и так хихикает, что я перестаю нажимать на живот и перехожу к подмышкам, где реально щекотно. Чипо хихикает и хихикает, пока слезы не выступают на глазах, а Форгивнесс не говорит: Тсс, если будете слишком шуметь, то нас найдут. Я перестаю щекотать Чипо и пронзаю Форгивнесс взглядом: кем она себя в самом деле считает?

Сбо перешла к массажу, и я тоже. Мы мнем и мнем бока Чипо, пока та не закрывает глаза. Из уголка ее рта течет слюна, и я говорю ей вытереть, потому что смотреть противно.

Так делают парамедики, говорит Сбо. Я думаю: что за парамедики? Не могу вспомнить, поэтому

помалкиваю. Форгивнесс тоже ничего не говорит, и я понимаю, что и она не понимает.

Я видела по телику в Хараре[20], когда гостила у Секуру Годи. Парамедики работают в американской больнице. Чтобы сделать все правильно, нам нужны новые имена. Я доктор Буллет, она красавица, а ты доктор Роз[21], он высокий, говорит Сбо мне.

Ты сказала — он, а я не хочу быть мужчиной, говорю я.

Ну, других женщин я не помню, будешь либо им, либо никем, говорит Сбо, делая ладонью режущее движение по животу Чипо.

А ты, ты доктор Каттер[22], говорит Сбо Форгивнесс, и Форгивнесс сплевывает, игнорируя Сбо.

А я кто? спрашивает Чипо.

Ты, ты пациентка. Пациенток зовут просто пациентками, говорит Сбо.

---

[20] Примечания: 20

Хараре — столица Зимбабве.

[21] Примечания: 21

Сбо имеет в виду персонажей сериала ER («Скорая помощь», США, 1994–2009): доктора Джини Буле, которую сыграла Глория Рубен, и доктора Дага Росса, сыгранного Джорджем Клуни.

[22] Примечания: 22

Каттер (от *англ.* cutter — резак) — вероятно, отсылка к доктору Джону Картеру, которого в сериале ER сыграл Ноа Уайли.

Доктор Каттер закончила разбирать вешалку; теперь она занята тем, что распрямляет ее. Я думаю о том, что мы с доктором Буллет собрали камни, металлическую кружку и ремень, а теперь трем живот пациентке без доктора Каттер, которая, похоже, отлынивает.

Почему ты вообще ничего не делаешь? спрашиваю я доктора Каттер.

Что? Не видишь, я с этим занята! говорит она, тыча вешалкой прямо в мою голову, словно хочет выколоть мне глаз. Я втягиваю воздух через зубы и отмахиваюсь от нее.

И че? Это ничего не значит, говорю я. Посмотри, сколько мы с доктором Буллет уже сделали, смотри, что сейчас делаем.

Ну, вам понадобится вешалка, чтобы избавиться от живота.

Кто это тебе сказал? говорит доктор Буллет.

А вот и не понадобится, врет она, говорю я.

Да не вру я. Без вешалки у вас не получится, это всем известно. Даже камням этим и то известно. Это, типа, здравый смысл, говорит доктор Каттер.

Пациентка приподнимается, опершись на локти. Она прищуривается, глядя на доктора Каттер, но ничего не говорит. Затем ложится обратно и

смотрит вверх, может, на ветви, может, на небо. Доктор Каттер берет камень, идет к плоскому валуну и начинает стучать по вешалке, выпрямляя ее. Разлетаются искорки.

Что именно ты будешь делать с вешалкой? говорю я.

Убирать живот, говорит доктор Каттер.

Да, мы поняли, но как? говорит доктор Буллет.

Увидите, говорит доктор Каттер.

Мои руки устали массировать живот пациентке, поэтому я прекращаю и просто сижу на корточках. Доктор Буллет не останавливается; она все массирует и массирует. Затем приближает ухо к животу, и я ее не спрашиваю, что она делает, слушая вот так живот.

Жаль, у меня нет стетоскопа, говорит доктор Буллет, а я даже не знаю, что это такое.

Я хочу куклу, говорит пациентка. Хорошую куклу с батарейкой, которую можно выключить, когда надо, чтобы она прекратила плакать.

Когда я уеду жить к тете Фосталине в Америку, я пришлю тебе куклу. Там много классных вещей, говорю я. Пациентка просто смотрит на меня, будто я вообще ничего не сказала.

Доктор Каттер заканчивает с вешалкой и кладет ее рядом с пациенткой. Вешалка выглядит

совершенно прямой, словно всегда была такой. Затем доктор Каттер садится на колени и хочет стянуть с пациентки мальчиковые трусы.

Стой, что ты делаешь? спрашивает пациентка, хихикая, но доктор Каттер продолжает стягивать трусы. Пациентка садится и натягивает их обратно.

Я спросила, что ты делаешь? повторяет пациентка. Ей уже не до шуток.

Снимаю с тебя трусы. Ты должна быть голой, говорит доктор Каттер, вся из себя серьезная.

Нет, не должна. Если я сниму трусы, ты увидишь мою штучку, говорит пациентка и скрещивает ноги. Она смотрит на доктора Буллет и на меня, как бы спрашивая, надо ли ей снимать трусы. Я хмурюсь и качаю головой, и она опускает платье на бедра.

Зачем тебе видеть ее штучку? У тебя разве своей нет, что ты так хочешь на ее посмотреть? говорит доктор Буллет.

Потому что так надо. Вешалку просовывают через штучку. Засовывают, пока она вся не исчезнет; она заходит вглубь живота, где младенец, цепляет его, и дальше его вытягивают. Я знаю, потому что подслушала, как сестра болтала об этом с подругой, говорит доктор Каттер. Она дер-

жит вешалку в воздухе, поднимает ее и крутит так и сяк, показывая, как все это делается. Мы некоторое время молчим, глядя, как танцует проволока, и соображаем. По лицу доктора Буллет мне не ясно, станем мы проворачивать это или нет. Она смотрит вверх, на дерево, крепко сжав губы, похоже, задумавшись.

Ну, а это больно или нет? говорит наконец доктор Буллет.

Откуда я знаю? Я же сама этого не делала. Но мы никого не режем, так что какая может быть боль? говорит доктор Каттер.

Врешь ты, говорит пациентка. Бедра ее сжаты, а лицо искажено, словно вешалка уже внутри нее. Я вижу, как глаза ее расширились от страха. Они напоминают мне глаза той женщины, болтавшейся на дереве, с которой мы сняли туфли.

Окей. Ты хочешь умереть или нет? спрашивает доктор Каттер голосом типа хватит-чушь-пороть.

Разве непонятно, что, если засунуть в нее вешалку, то будет кровь? Нам надо без крови, а то люди узнают, говорит доктор Буллет.

Ну, а как тогда? спрашивает доктор Каттер. Она берет вешалку и ковыряет ею землю. Грязь летит на мое платье. Я ее стряхиваю. Доктор Каттер встает и уходит. Мы смотрим, как она останавли-

вается у куста и расставляет ноги. Затем задирает платье и начинает писать.

Я не вижу, как приближается Мать-Любовь, но вдруг чую запах лимона, поднимаю взгляд, а она уже возвышается над нами подобно башне, и ее длинная тень ложится на все вокруг. Она хмурится и оглядывается, морща нос. На ее зеленом платье порхают желтые бабочки. Мы пытаемся встать, но она велит нам не двигаться.

Иисус Христос, что здесь происходит? спрашивает Мать-Любовь. Я замечаю, как Форгивнесс прекращает писать и порывается убежать, но Мать-Любовь подзывает ее и указывает пальцем на землю возле Сбо. Форгивнесс садится, точно собачка, которой приказали сидеть. Я заламываю руки и размышляю, что будет, если Мать-Любовь отведет нас к себе в хибару и расскажет нашим матерям. Я думаю, пусть уж лучше она сама отлупит меня здесь и сейчас; пусть кто угодно отлупит меня, хоть сам Сатана, только не мама. Мама лупит так, словно хочет кровь пустить и кости переломать, словно хочет убить и схоронить на Хэвенвэе.

Никто не расскажет мне, что, во имя Господа, происходит? спрашивает Мать-Любовь. Она переводит взгляд с одного лица на другое. Я

отворачиваюсь и смотрю на прихожан, поднимающихся на Фамбеки на дневные молитвы, и почти желаю, чтобы они помолились за меня, за мое спасение.

Смотри на меня, когда я с тобой говорю, дитя, говорит Мать-Любовь. Она приближает свое лицо к моему так, будто сейчас поцелует. Глаза у нее большущие, и белки такие, словно их макнули в молоко. Она красавица, но на этот раз смотрит так, что мне жутко.

Ну. Что это такое? говорит она, нахмурившись. И не врите мне, потому что у меня есть дела поважнее, чем выслушивать вранье.

Мы ничего вообще не сделали, говорит Форгивнесс. Сбо чертит ногой на земле каракули. Чипо начинает плакать.

Мать-Любовь наклоняется и подбирает вешалку. Полы ее платья волочатся по земле, оставляя следы.

Что это такое? говорит она и смотрит на Чипо, которая все так же плачет. Мать-Любовь поворачивается к Сбо. Что это такое? повторяет она.

Это вешалка, говорит Сбо. Но это не я ее такой сделала. Мы со Сбо смотрим на Форгивнесс, без слов указывая на нее.

Я просто… мы пытались убрать живот Чипо,

говорит Форгивнесс, глядя вниз, на нцаро. И принимается плакать. Чипо ревет уже во весь голос.

Мать-Любовь качает головой, а затем тяжело, словно мешок, оседает на землю. Но она не сердится. И не кричит. Никого не лупит и не хватает за уши. Не обещает убить нас или рассказать нашим матерям. Я гляжу на ее лицо и вижу страшную незнакомую женщину, а на ее незнакомом лице — такое выражение боли, какое бывает у взрослых, когда кто-то умирает. В глазах ее стоят слезы, и она сжимает свою грудь, словно там горит огонь.

Мать-Любовь наклоняется и обхватывает руками Чипо. Мы смотрим и не знаем, как поступить, ведь когда взрослые плачут, их не спросишь, что случилось, не скажешь им заткнуться; когда взрослые плачут, слова бесполезны. Вскоре Чипо перестает плакать и обнимает Мать-Любовь, хотя длины ее рук не хватает. На макушку Чипо садится лиловая бабочка — на удачу, а когда она улетает, Форгивнесс бежит за ней. Тогда мы со Сбо мчимся за Форгивнесс, и вот уже все мы гоняемся за бабочкой и кричим, пытаясь поймать удачу.

Тсс

Возвращается отец, который много лет не желал нас знать, посылать нам деньги, любить нас, навещать — ничего не желал, и устраивается в лачуге, не в силах двигаться, не в состоянии нормально говорить и вообще что-либо делать; он только блюет и блюет, господи боже, блюет и испражняется под себя, и вонь от этого, как от мертвечины, гниющей мертвечины, и тело его напоминает ужасную черную палку. Я прихожу после игры «Найди бен Ладена», а он там лежит.

Просто лежит. Пристроился. В углу. На маминой кровати. Такой тощий, словно питается булавками и проволокой, такой тощий, что я сперва его даже не замечаю под одеялами. Я залезаю на кровать, чтобы достать прыгалки для игры в виллибол, и тут… он поднимает голову, и я впервые вижу его. Одни жилы да кости. Шершавая кожа. Крокодильи зубы и яично-белые глаза, лежит, прикованный к постели.

Я даже не понимаю, что это отец, поэтому с криком выбегаю на улицу. И налетаю на маму, а она дает мне оплеуху, говорит «тсс» и указывает

на лачугу. Я иду обратно, одной рукой прикрываю больное место, а другую, сжатую в кулак, прикусываю. К тому моменту, как мы подходим к двери, я уже все понимаю без маминых слов. Понимаю, что это отец. Что он вернулся. Вернулся после стольких лет молчания.

Голос у него такой, словно горло обожжено. Сын мой. Мальчик мой, говорит он. Больно его слушать; хочется зажать ладонями уши. Вблизи он похож на монстра, и я снова порываюсь убежать, но мама в красном платье стоит рядом и внушает угрозу. Мальчик мой, повторяет он снова и снова, но я не говорю ему, что я девочка, не прошу оставить меня в покое.

Затем он поднимает свои кости и протягивает ко мне когтистую лапу; я не хочу касаться ее, но мама стоит и смотрит. Смотрит, как Иисус с календаря Матери Костей, чтобы никто не грешил. Я продолжаю стоять, и тогда мама подталкивает меня в шею, отчего я пошатываюсь и чуть не падаю на эти ужасные кости. Лапа в моей ладони твердая и потная, и я быстро отдергиваю руку, словно коснулась огня. После этого я не хочу трогать себя этой рукой, не хочу есть ею и что-либо делать, мне даже хочется выбросить ее и отрастить новую.

Мальчик мой, говорит он снова. Я не смотрю в его сторону, потому что вообще не хочу видеть его. Он все твердит: Мальчик мой, мальчик мой, — пока я наконец не говорю: Я не мальчик, чокнулся, что ли? Уходи отсюда, убирайся с нашей кровати и возвращайся туда, откуда пришел, со своими страшными костями, уходи и оставь нас в покое. Но говорю я это лишь в мыслях. Не успела я высказать все это, как он обделался, и я почувствовала, будто нахожусь в туалете.

Мама изначально не хотела, чтобы отец уезжал в Южную Африку, но в то время все уезжали в Южную Африку и в другие страны — кто-то поближе, кто-то подальше, кто-то совсем далеко. Все разъезжались, просто валом валили, и отец решил отправиться со всеми, и ничто не могло его удержать.

Посмотри, как все разваливается, Фелистус, сказал он однажды, расшнуровывая ботинки. Мы сидели возле лачуги, мама готовила. Отец пришел откуда-то — не знаю откуда — очень сердитый. В те дни он постоянно сердился; словно весельчак с непрестанным смехом и множеством историй, бывший столько лет моим отцом, внезапно исчез, оставив вместо себя сердитого незнакомца. И мало-помалу я стала бояться его,

этого сердитого незнакомца, который считался моим отцом.

Мама продолжала помешивать что-то в кастрюле на огне, не обращая на него внимания. В те дни мы понимали по тону отцовского голоса, когда лучше с ним не говорить, — по такому тону, который мог мгновенно включаться и выключаться, как свет. В тот миг тон был включен.

Нам следовало уехать. Следовало уехать из этой поганой страны, когда все это началось, когда Мгчини предлагал переправить нас.

Все образуется, сказала мама, со временем. Даже самая длинная ночь заканчивается рассветом. Так ведь не будет продолжаться вечно? К тому же мы все не можем сейчас покинуть страну.

Да жена права все образуется сын мой и Господь Бог с нами он не оставит нас не оставит ибо он любящий Господь, добавила Мать Костей, потирая руки, словно мыла их, словно извинялась за что-то, словно стало холодно. Мать Костей произносила «Бог» так, будто лично знала Бога, будто Бог был не чем-то больше неба, а маленьким красивым мальчиком с растрепанными волосами и в саржевой рубашке без нескольких пуговиц, который заикался и играл с нами в «Найди бен Ладена». Вот как Мать Костей произносила «Бог».

Отец рассмеялся, но это вовсе не походило на настоящий смех.

Вы не понимаете, да? Ради этого я ходил в университет? Ради этого мы добивались независимости? Какой смысл в том, чтобы так жить? Объясните мне! сказал отец.

Я знаю одно: я точно не мечтаю пересечь границу и жить там, где меня будут называть квэрквэр. Разве не помнишь, как всего два дня назад приезжала Нкобиле из этого Хиллброу[23] и рассказывала правду, как там живется? сказала мама. И добавила в кастрюлю кукурузной муки.

И потом, вся моя семья здесь. Как быть с моими престарелыми родителями? С твоей матерью? А ты иди отсюда, дебилка, иди играй с друзьями, нечего греть уши, не то живо их оттяпаю, сказала она мне, как говорила всегда, когда случался взрослый разговор или спор, а в те дни они часто спорили.

Вскоре после этого отец уехал. А потом, когда не пришли ни фотографии, ни письма, ни деньги, ни одежда, ни вещи, которые он обещал, я пыталась не забывать его, выискивая родные черты в

---

[23] Примечания: 23

Хиллброу — жилой район южноафриканского города Йоханнесбурга. Известен высокой плотностью населения, безработицей, бедностью и преступностью.

лицах мужчин Парадайза, в лицах отцов друзей и подруг. Я внимательно смотрела на мужчин и думала, какие из их жестов могли принадлежать и моему отцу, каким голосом он мог разговаривать, каким смехом смеяться. Сколько волос у него росло на руках и лице.

Тсс, ты никому не должна рассказывать, имей в виду, *ни-ко-му*, слышишь меня? говорит мама и так смотрит, словно сейчас съест. О том, что твой отец вернулся и болеет. Когда мама говорит это, я просто смотрю на нее. Не соглашаюсь и не киваю — ничего вообще. Потому что отныне мне надо приглядывать за отцом, словно он маленький, а я его мама, и, значит, когда мама и Мать Костей уйдут куда-нибудь, мне нельзя будет играть с друзьями и придется врать им, почему нельзя.

Сперва, когда друзья приходят к нашей лачуге, я стою перед дверью, зевая во весь рот, и говорю, что устала. Потом говорю, что у меня постоянно болит голова. Потом говорю, что у меня грипп. Потом — что понос. И мне плохо, но не оттого, что я вру, а оттого, что вру друзьям. Мне не нравится не играть с ними и не нравится врать им, потому что они для меня важнее всего, и, когда я не с ними, мне кажется, что я — это не я.

Однажды я стою в дверях, высунув только голо-

ву наружу, и говорю, что у меня корь. Я не знаю, откуда взяла это, но слово само пришло на язык и само сказалось. Корь.

А это больно? спрашивает Сбо. И смотрит на меня, склонив голову так, как положено делать маме, когда ты рассказываешь ей о чем-нибудь серьезном.

Да, больно, говорю я. И добавляю, что чешется. Скоро раскорябаю и тогда не смогу выходить играть какое-то время. По лицу Стины ничего невозможно прочесть, но Гадноуз слушает меня с открытым ртом. Бастард прищурился и смотрит на меня так, словно я что-то украла, а Сбо скривилась, будто сама заболела корью. Чипо садится на корточки и рисует палкой узоры на земле.

А как же чемпионат мира? говорит Гадноуз. Ты не хочешь играть в чемпионат мира? Мы нашли реальный кожаный мяч в Будапеште — его кто-то забыл.

Может, когда будет чемпионат мира, корь у меня уже пройдет, тогда я выйду и буду Дрогба[24], говорю я, почесывая шею, — типа она чешется.

Правда? говорит Гадноуз.

---

[24] Примечания: 24

Дидье Ив Дрогба Тебили (род. 1978) — ивуарийский футболист, игравший на позиции нападающего. Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д'Ивуара.

Да, сердцем клянусь, чтоб я сдохла, говорю я.

Хорошо, но ты не можешь быть Дрогба, не видишь разве, что я уже Дрогба? говорит Гадноуз.

Врушка, врешь ты все, говорит Бастард. Нет у тебя кори, не болеешь ты и не болела. Он стоит на одной ноге, как петух, и жует травинку. Он смотрит мне в глаза, и я вижу: он хочет, чтобы я что-то ответила, а он тогда скажет что-нибудь похуже. Мы все стоим, и все ждут, чтобы я сказала что-то Бастарду, но я знаю: мне нельзя открывать рот.

Никто ничего не говорит, между нами повисает тишина — такая большая и толстая, что хоть руками трогай, и тут начинается кашель. Громкий, мокрый, ужасный, кашель этот застает меня врасплох. Я вздрагиваю, но потом быстро вспоминаю, что он в лачуге. Поздно пытаться как-то скрыть его, все смотрят мне в глаза, смотрят и ждут, чтобы я что-то сказала, объяснила.

А я не могу придумать, что сказать, поэтому просто стою, обливаюсь потом и слушаю, как гремит кашель, сотрясая стены, гремит, гремит и гремит, и мысленно уговариваю: перестань, пожалуйста, перестань, перестань-перестань-перестань, пожалуйста, — но он все гремит, гремит, гремит, и в итоге я разворачиваюсь и хлопаю дверью, слыша вслед: Постой! Что там у тебя?

Что у тебя?

Голос Бастарда звучит прямо за дверью, словно он сейчас повернет ручку и войдет. Я задвигаю щеколду и слышу, как он дразнится, говорит, чтобы я открыла, и отпускает шуточки. Когда он наконец замолкает, я опускаюсь на пол и просто сижу, чувствуя усталость. Я смотрю в угол, а этот смотрит на меня дикими глазами — такими, как у животного, пойманного светом фар на Мзиликази-роуд; смотрит на меня со своей сморщенной головой и розоватыми губами, источая смрад.

Он продолжает кашлять, и я слушаю, как этот ужасный звук разрывает воздух. С каждым приступом его тело складывается и сотрясается, но мне его даже не жалко, я думаю: ненавижу тебя за это, ненавижу за то, что уехал в Южную Африку и вернулся больным, кожа да кости, ненавижу за то, что не даешь мне играть с друзьями. Наконец кашель заканчивается, и он, потея, дышит так, как если бы его гнали от самого Будапешта, вверх и вниз по Фамбеки, и, когда он говорит таким немощным голосом «воды», я притворяюсь, будто не слышу: я ненавижу его за то, что он не дает мне жить. Я думаю: сдохни. Сдохни уже, чтобы я пошла играть с друзьями, сдохни уже, потому что так нечестно. Сдохни-сдохни-сдохни. Сдохни.

Отец не может подняться на Фамбеки из-за болезни, поэтому Мать Костей просит Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро прийти в лачугу помолиться за него. Мы сидим в углу — я, мама и Мать Костей — и смотрим. Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро кропит отца святой водой, а затем зажигает четыре свечи: красную — возможно, за Отца; белую — возможно, за Сына; желтую — возможно, за Святого Духа; и черную — не знаю за кого, возможно, за черное большинство, которое символизирует черный цвет на нашем флаге. Занимаясь всем этим, Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро сутулится и напевает что-то себе под нос, и наконец, когда все готово, он расстилает белую ткань на полу, опускает на нее колени, положив рядом Библию, и начинает голосить.

Сперва я закрываю глаза, как и положено во время молитвы, но вскоре устаю держать их закрытыми, потому что Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро знай себе голосит и голосит. Чтобы скоротать время, я считаю до сотни, и, когда досчитываю, он голосит все дальше. Дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше-дальше-дальше-дальше-дальше-дальше-дальше-дальше: Упреждаю тебя, демон, во

имя Иисуса… очисть его, Отче… ты, лев могучий и целитель болящих… простираюсь пред тобой, Иегова Джайра и всяко-разно. А я просто сижу, кусая изнутри щеки, пока не ощущаю кровь.

Глаза отца открыты, и в глубине их я замечаю ожидание — словно он ждет чуда. Я перевожу взгляд на Мать Костей: она истово молится с закрытыми глазами, на лбу ее вздулась вена. Мамины глаза открыты. Она не зыркает на меня, не грозится убить за то, что я слушаю молитву с открытыми глазами, так что я сижу и смотрю дальше.

У мамы глаза усталые и лицо усталое; с тех пор как появился отец, она все время что-то делает для него: присматривает за ним, готовит ему, кормит его, переодевает и тревожится. Я подумываю помолиться за нее, чтобы ее усталость прошла, но потом напоминаю себе: я решила, что молиться Богу — пустая трата времени. Ты молишься, молишься, молишься — и ничего не меняется; например, я долго-долго молилась о настоящем доме, и хорошей одежде, и велосипеде, и разных других вещах, и ничего из этого не исполнилось, ни единой мелочи, поэтому мне ясно, что все эти молитвы к Отцу Небесному — просто игра.

Я как следует обдумала всю эту тему с молит-

вами — то есть реально думала об этом — и пришла к выводу, что, возможно, люди молятся неправильно; может, вместо того, чтобы вежливо просить Бога, людям надо требовать, сомневаться и грозить, что перестанут преклоняться перед ним. Может, тогда он возьмется за ум и попытается сделать что-то полезное, как и положено; ведь даже в том стихе из Библии говорится: просите чего угодно и получите — то есть чьи это слова?

Спустя очень долгое время Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро наконец говорит «аминь» и открывает глаза. Он утирает мокрые лицо и голову рукавом и сообщает Матери Костей, что Бог явил ему, будто дух моего дедушки, который был во мне с давних пор, вышел. Услышав его слова, я улыбаюсь; хоть я никогда и не чувствовала, чтобы что-то такое было во мне, меня все же волновало, что так говорил Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро.

Дальше он говорит Матери Костей, что дух ушел не насовсем, а вселился теперь в отца и пожирает его кровь и тело, иссушая его, разрушая и отнимая силы. Чтобы изгнать духа и исцелить отца, говорит Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, нам надо найти двух толстых белых девственных коз, отнести на гору для заклания и

искупать отца в козьей крови. Кроме того, Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро говорит, что мы должны заплатить ему пятьсот долларов США, а если у нас их нет, то сойдут и евро. С этими его словами мама встает злая-презлая, выбегает из лачуги и хлопает дверью.

Бог также сказал мне, что и жена одержима — сразу тремя демонами. Один все время лишает ее радости, другой — это дух собаки, а последний наделяет ее скверным нравом, делая опасной женщиной. Но прежде нужно разобраться с мужем, поскольку это неотложный случай, говорит Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, указывая палкой на отца.

Я открываю дверь и вижу их, сгрудившихся возле лачуги. Мама ушла на границу торговать, а Мать Костей молится на Фамбеки, потому что постится ради здоровья отца. Ей не по карману две девственные козы и пятьсот долларов США, о которых сказал Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, а в больнице нет ни врачей, ни медсестер, потому что они вечно бастуют, так что Матери Костей только это и остается — поститься и молиться-молиться-молиться на Фамбеки, пусть даже Бог все сделает по-своему.

У тебя там отец. У него болезнь, мы знаем, го-

ворит Гадноуз.

Бесполезно скрывать СПИД, говорит Стина. Когда он назвал Болезнь по имени, у меня перехватило дыхание. Я осматриваюсь — нет ли поблизости кого-то, кто мог услышать.

Это как прятать что-то колючее в мешке. Однажды колючки покажутся из мешка, и всем станет видно, говорит Стина.

Где он подцепил его, в Южной Африке? Он ведь не был болен, когда уезжал? говорит Гадноуз.

Кто вам сказал все это? Я перевожу взгляд от одного к другому. И снова думаю о том, как его ненавижу, но теперь уже по другой причине. Он поставил меня в такое положение, при котором я должна оправдываться перед друзьями и не знаю, что сказать, потому что устала врать.

Да все знают, ты, морда, говорит Бастард. Мы хотим войти и посмотреть.

Не на что смотреть, говорю я. Никого тут нет. Я понимаю, что говорю шепотом, словно сама с собой.

Мы видели, как ушла твоя мама, и знаем, что твоя бабушка тратит время на этой отстойной горе, поэтому пусти нас и дай посмотреть, говорит Бастард. Он уже открывает дверь и заходит как к себе домой. Все вваливаются, а я иду за ними,

словно это их лачуга, а я пришла в гости.

Мы становимся на колени вокруг кровати, вокруг отца, растянувшегося словно чахнущий король. Я впервые подошла к нему так близко без маминого указания. Я все жду, что кто-нибудь засмеется над отцовскими костями, но никто не издает ни звука; тишина такая, будто мы, типа, в церкви и Иисус вошел и кашлянул два раза. Я стараюсь не смотреть никому в глаза — не хочу, чтобы они видели мой стыд, и не хочу видеть их смех.

Никто ничего не говорит. Мы просто всматриваемся в слабом свете в длинный ворох костей, в усохшую голову, в волнистые и сильно поредевшие волосы, в лицо, угловатое и резкое из-за выпирающих костей, в розоватые губы, в страшные язвы, в кожу, натянутую на скелете, словно ее выгладили, в руки и ноги, похожие на когти. И тогда я понимаю, что именно мясо делает лицо реальным; а как мясо стает, тебя никто и не узнает.

Бастард берет руку отца, словно палку, которую кто-то забыл, выходя играть. Он держит ее осторожно, будто яйцо, и спрашивает: Как вы, мистер отец Дарлинг? Я никогда не слышала, чтобы Бастард так говорил — бережно и мягко, словно

речь его состоит из перьев. Мы все наклоняемся и смотрим, как шевелятся тонкие губы, как рот пытается произнести что-то, но сдается, потому что слова застревают среди язвочек, спотыкаются о раздувшийся язык. Он оставляет попытки что-то сказать, и я задумываюсь, на что это похоже, когда ты не в силах делать такую простую вещь, как открывать рот и говорить, так что голос тонет в тебе. Ужасающее чувство.

Куда, как думаешь, он попадет? говорит Сбо.

Не видишь, он здесь застрял и никуда не выходит? говорит Чипо.

Нет, в смысле, когда умрет, говорит Сбо.

Я смотрю на нее, и она пожимает плечами. Я знаю, что отец болен, но мысль о его смерти — окончательной, настоящей — пугает меня. Это не то же самое, как его отъезд в Южную Африку, когда можно говорить себе и другим, что раз он уехал туда, значит, однажды наверняка вернется. Со смертью все обстоит иначе; смерть — это навсегда, как было с той девушкой, которая повесилась на дереве, потому что, как мы потом узнали из письма, найденного в ее в кармане, она заболела и решила сразу покончить с Болезнью и с собой. Теперь она мертва, ее больше нет, и Мавава, ее мама, никогда ее не увидит.

На небеса. Мой отец попадет на небеса, говорю я, даже если не верю, будто где-то реально есть небеса; мне просто не нравится думать, что он никуда не попадет. Я замечаю, что произношу «мой» так, словно он моя любимая игрушка, словно я владею им, словно я его хозяйка. Он выглядит как ребенок, когда лежит вот так, совершенно беспомощный, и мне вдруг хочется стать большой и сильной, взять его на руки и покачать.

Поэтому Мать Костей всегда молится на горе? Она молится, чтобы Бог пустил его на небеса? говорит Сбо.

Не знаю, может быть, говорю я.

Небеса — это скучно. Разве не видела в той книжке с картинками, когда мы ходили в школу? Все такое ровное и белое, везде один и тот же цвет и порядок. Как будто какие-то чокнутые старосты все время распоряжаются: это делай, то не делай, где твои туфли, заправь рубашку, тсс, Бог этого не любит и накажет тебя, не шуми, разбудишь ангелов, иди умойся, ты грязный, говорит Бастард.

Я, когда умру, хочу попасть туда, где много еды и музыки, — такая бесконечная вечеринка, и мы будем петь эту песню про Иова, говорит Гадноуз.

Он запевает «Иовчика», Сбо подключается, и мы слушаем их какое-то время, а потом прини-

маемся чесаться и петь вместе с ними, потому что «Иовчик» — такая песня, при которой только и остается, что чесаться, как делал больной Иов в Библии: он лежал и чесал свои язвы, когда Бог пытал его просто по приколу, желая проверить его веру. Слышишь «Иовчика» — и начинаешь взывать к небесам, даже если знаешь, что Бог занят своими делами и ему не до тебя. Слышишь «Иовчика» — и тычешь пальцем в небо, распевая во весь голос. Мы чешемся по-всякому, тычем пальцами в небо, и снова чешемся, и оглашаем лачугу пением.

Затем Стина берет отца за руку и начинает покачивать ее в такт, а Бастард берет и покачивает другую. Я протягиваю руку и тоже трогаю его; я ни разу не трогала отца с тех пор, как он вернулся, а теперь кем я буду, если все его трогают, я а — нет? Мы все поем, переглядываемся и улыбаемся, потому что трогаем его, просто трогаем везде, словно он прекрасная игрушка, которую мы только что вытащили из мусорного бака в Будапеште. На ощупь он как сухое дерево, но запавшие глаза странно светятся, будто он проглотил солнце.

Чорная сила

Гуавовый сезон на исходе, поэтому теперь мы рыскаем по Будапешту, словно хищные животные. Мы тщательно прочесываем улицу за улицей, так старательно всматриваясь в кроны деревьев, что затекают шеи. Мы почти не говорим об этом, но я знаю, что все думают об одном: сезон кончается, и впереди нас ждут несколько долгих скучных месяцев, в которые нам ничего в Будапеште не обломится, — до следующего сезона.

Может, нам пора начать обшаривать дома, говорит Бастард как-то медленно и задумчиво.

Нет. Мы не шпана, говорит Гадноуз, и я чуть не аплодирую ему за то, что он в кои-то веки сказал дело.

Да, мы не такие, говорит Сбо.

Говорю вам, мы реально свое упускаем, говорит Бастард, и вид у него хмурый и серьезный.

Мы слоняемся по Квинсу, дорога под нашими ногами раскалена от солнца. Повернув за угол на Манделу, мы видим этого человека. Судя по форме, это охранник. Раньше мы не видели в Будапеште никаких охранников, поэтому сперва не

очень понимаем, как с ним быть. Он подзывает нас своей черной дубинкой, и мы, поскольку мы слишком близко, чтобы развернуться и удрать, просто подходим к нему.

Так, и что же побуждает вас находиться на этой территории? говорит охранник. Мы совсем рядом, но он кричит, будто мы на горе Эверест. Он окидывает нас неприятным взглядом, и мы отвечаем ему таким же, не говоря ни слова, просто стоим и ждем продолжения.

Не пойму, то ли он хмурится, то ли просто урод. Он высокий, и его темно-синяя форма выглядит так, словно он нахлобучил ее впопыхах. На его левой руке — белая нашивка с изображением пистолета и словом «Безопасность», вышитым рельефными красными буквами, а на груди — церковный значок ХЦЗ[25]. Брюки едва доходят до щиколоток, ботинки не начищены. На нем черная шерстяная шапочка и такие же перчатки, несмотря на жару. Вид у него откровенно клоунский, и мы понимаем, что он пустое место; не будь мы так близко, наверняка стали бы дразнить его, смеяться и бросать камни.

Приказываю вам немедленно развернуться и

---

[25] Примечания: 25
Христианская церковь Зимбабве.

отбыть в обратном направлении. Избавьте данное владение от своего присутствия и вернитесь в свою дыру, откуда выползли. Ни при каких обстоятельствах не попадайте впредь в мое поле зрения, вам ясно? Охранник указывает нам на дорогу. Он говорит это таким тоном, будто все здесь его, но мы понимаем, что даже дубинка у него в руках — не его, и если бы он не стоял на этой улице, то был бы никем.

Почему вы так разговариваете, вы ходили в университет? Мой кузен Фредди тоже ходил и умеет говорить высоким английским слогом, сообщает Гадноуз, но охранник на него даже не смотрит.

У вас уши вышли из строя? Охранник повышает голос. Затем чуть наклоняется, опуская лицо на один уровень с нашими. Идите своей дорогой сиюсекундно, говорит он, но мы не двигаемся.

Мы вас знать не знаем, говорит Бастард и сплевывает. Этого достаточно. Охранник встает в стойку, словно пес, которого дернули за хвост.

Кто тебе выдал разрешение совершать грязные действия на улице? Кто? говорит охранник. И тычет кривым пальцем в Бастарда, потом — в плевок и снова в Бастарда.

Вы что, из-за плевка ругаетесь? Нашу подругу

рвало на этих улицах, говорит Гадноуз с гордостью в голосе. И почему вам не дали пистолет или сторожевую собаку? Что, если бы мы были вооружены и опасны? добавляет Гадноуз.

Я требую, чтобы ты немедленно это вытер, говорит охранник Бастарду с донельзя серьезным лицом.

У вас наручники хотя бы есть? говорит Гадноуз.

Чего вытереть? говорит Бастард.

Твою грязь; думаешь, можешь просто прийти сюда и осквернить это место, как сочтешь нужным? Ты знаешь, что я могу прямо сейчас совершить над тобой гражданский арест и переправить твою презренную персону в тюрьму? Тебе не терпится увидеть камеру изнутри, а, умник? Нарываешься, да? Хочешь, чтобы я тебя туда доставил? говорит охранник. Он надвигается на Бастарда, помахивая дубинкой, весь из себя грозный, будто сейчас отдубасит его.

Но как вы доставите его в тюрьму? Где ваша машина? У вас есть водительские права? говорит Гадноуз.

Ты, захлопни хлебало, идиот скрупулезный, не играй со мной. Я и тебя могу арестовать, говорит охранник, оглянувшись на Гадноуза и тыча в

него дубинкой. Он думает, что Гадноуз над ним прикалывается, но Гадноузу реально интересно.

Ну, так где наручники и патрульная машина, или вы для этого вызовете полицию? Где ваша рация, можно посмотреть? Это правда, что там могут убить, в тюрьме? не унимается Гадноуз.

А на той неделе, когда к нам приезжал Секуру Тендаи, полиция его остановила на подъезде к городу, говорит Сбо.

Его заковали в наручники? Он сейчас в тюрьме? Его побили? говорит Гадноуз.

Нет, у него выпрашивали взятку, а потом просто отпустили, говорит Сбо.

Вы, прекратите общение. Немедленно. Обоих касается, слышите? Воздержитесь применять свои речевые органы, пока и если к вам не обратятся, говорит охранник Гадноузу и Сбо. Я тихонько хихикаю. А охранник снова обращается к Бастарду:

Ты считаешь, мальчик, это улица твоего отца? Видишь, вывеска гласит: «Мандела». Ты думаешь, он твой отец, так, что ли?

Но плевок высох, видите, показывает Стина туда, куда плюнул Бастард, и мы визжим, хлопаем и смеемся.

Значит, по-вашему, я средство развлечения,

да? Думаете, я просыпаюсь утром и надеваю эту форму исключительно для вашего удовольствия? Думаете, у меня нет неотложных дел, ждущих меня, кроме вашей чепухи, да? говорит охранник, размахивая для внушительности длинными руками и дубинкой.

С каких это пор вы вообще стали охранять это место? Раньше мы вас никогда не видели, говорит Бастард, рассматривая свои ногти. Он с недавних пор их отращивает, не знаю зачем.

С тех пор, как ваши бескультурные отцы стали терроризировать этот район. Это ваши отцы приходят сюда, наживаясь на поте порядочных граждан, не так ли? Не так ли? А теперь вы разведываете это место от их имени, не так ли? Ну, вот что я скажу, пусть приходят, и я уменьшу им размер. Идите и приведите их прямо сейчас, слышите меня? Идите и приведите их, не завтра, не через три часа, а прямо сейчас, мне их надо, говорит охранник. Пот выступил на его носу, а на губах — пена, он переводит взгляд между нами, словно правда думает, будто у нас есть на него время. Я уже начинаю скучать и хочу вернуться к поиску гуав.

А правда, сколько вам платят? говорит Бастард. Он подходит к воротам, словно они его собствен-

ные, и прислоняется.

Прекрати, ну-ка прекрати, ты, жук навозный, слышишь? Не смей больше… убирайся, пошел отсюда, немедленно! шипит охранник.

Мы смотрим, как он семенит к воротам, подняв дубинку над головой, готовый к атаке. И начинаем кричать и свистеть. Он машет дубинкой на Бастарда, но тот отклоняется, отбегает и встает на безопасном расстоянии. Охранник устремляется за Бастардом, поскальзывается и спотыкается, чуть не падает, однако сохраняет равновесие. Он стоит и смотрит на Бастарда, а тот просто забавляется, потому что любит такое. По лицу охранника видно, что он выходит из себя, что если бы он мог достать Бастарда — руками или дубинкой, то как следует отделал бы его.

Вот поймаю тебя, пожалеешь, что на свет родился, жалкий ты, фатально непригодный биологический просчет, говорит он, и губы его дрожат. А затем поворачивается к нам, словно только что о нас вспомнил. Давайте, убирайтесь отсюда немедленно. Этому вас в школе учат, а? Вести себя как животные? Шевелитесь, разойдитесь! говорит он.

А мы больше не ходим в школу. Учителя уехали, вы вообще не знаете, что происходит? говорит

Гадноуз. Охранник собирается что-то сказать, но замолкает и просто стоит, словно все его громкие слова испарились. Видно, он реально не понимает, что с нами делать.

Потом по улице к нам скользит красная машинка, и охранник срывается к другим воротам. Мы аплодируем ему и голосим, а затем разглядываем машину, типа это невеста. В отличие от Стины, я не разбираюсь в машинах, не могу сказать по виду, что это за марка, но даже мне ясно: машина интересная. Она низкая, как будто детская, и форма у нее странная — сплошь углы, ребра и заломы. Вблизи от нее такой звук, словно там что-то урчит под металлом. Стина кивает, присвистывает и смеется. Он был бы рад подбежать, обнять ее, заговорить с ней.

Охранник уже стоит у ворот кремового дома с большой спутниковой тарелкой и внушительной территорией. Мы смотрим, как он придерживает ворота, вытянувшись и выпятив грудь, словно за пару минут вдруг подрос и нарастил мускулы, — типа он и есть хозяин машины и просто одолжил кому-то покататься. Когда машина проезжает, мы видим машущую из окошка руку. Охранник машет в ответ и улыбается. Он продолжает махать и улыбаться, даже когда автомобильный зад

скрылся из виду. В нашу сторону он не смотрит — явно избегает нас.

Окей. Больше делать нечего, идемте, говорит Сбо.

Да, уберемся подальше отсюда, пока он нас не арестовал, говорит Гадноуз, и мы смеемся.

Вот, прямо перед нами была «Ламборгини-Ревентон»[26], говорит Стина.

Когда я уеду жить к тете Фосталине, буду водить такую машину, видите, какая она маленькая, прямо для меня? говорю я. Я просто знаю, костями чувствую, что эта машина ждет меня в Америке, и кричу: Моя «Ламборгини», «Ламборгини», «Ламборгини-Ревентон»! Мой голос разносится по пустой улице, и я смеюсь и пускаюсь впри-прыжку.

Ой, да заткнись ты, говорит Бастард.

Давайте уже искать гуавы и оставим в покое этого клоуна, говорит Гадноуз.

На Джулиус-стрит мы наконец находим дерево с гуавами, слегка обобранное, но нам достаточно, и мы вовсю собираем их, а потом слышим этот

---

[26] Примечания: 26

«Ламборгини-Ревентон» (*итал.* Lamborghini Reventón) — среднемоторный суперкар, впервые представленный в 2007 году на Франкфуртском автосалоне. Один из самых дорогих «Ламборгини», который стоит примерно миллион евро (1,5 миллиона долларов США).

дикий шум. Мы смотрим и видим, как по Джулиус течет толпа, словно злая черная вода, и тут же понимаем, что зря пришли сегодня в Будапешт. Они повсюду: идут, бегут, ломятся, выделываются, машут кулаками, мачете, ножами, палками, и всяким оружием, и национальными флагами, так что Будапешт содрогается от их рева:

Убей бура[27], фермера, хиву[28]!

Вселяй страх в сердце белого человека!

Белый человек, тебе здесь не место, уходи к себе домой!

Африка для африканцев, Африка для африканцев!

Убей бура, фермера, хиву!

Они убьют нас, говорит Сбо. Я не вижу ее лица, потому что она сидит на ветке прямо за мной, но понимаю по дрожащему голосу, что слезы уже льются по ее щекам и скоро затекут в рот.

Я не хочу умирать. Я хочу к маме, говорит она. И начинает завывать, словно радио, которое кто-то включил на полную громкость.

Заткнись, ты чего, хочешь, чтобы нас убили?

---

[27] Примечания: 27

Бур (*англ.* boer) — представитель белого населения Южной Африки, потомок переселенцев из Нидерландов.

[28] Примечания: 28

Хива (*коса, зулу* khiwa) — строитель.

говорит Гадноуз.

Тсс. Сбо, слушай, помолчи. Если не будем шуметь, если просто тихо тут пересидим, то они нас не увидят. Пройдут мимо, и мы потом уйдем, говорит Стина, словно он чья-то мамочка. Сбо перестает плакать, но все равно слышно, как она всхлипывает.

А, да ладно, нам они ничего не сделают. Я-то вообще не боюсь, говорит Бастард, и мы все глядим вниз, на него. Он сидит на толстой ветке, обхватив рукой ствол, его потрескавшиеся ступни болтаются в воздухе. Словно он просто актерничает и, может, даже ждет кого-то с камерой.

Не слышите, что ли, они белых людей ищут? Говорю вам, нас они не тронут, мы же не белые, говорит он. Мы смотрим, как он сплевывает, тянется за гуавой, вытирает ее о радугу на своей футболке и принимается быстро вгрызаться в нее.

А если они не найдут белых людей? говорит Гадноуз. Тогда придут за нами.

Чушь полная, они всегда находят белых людей, говорит Бастард.

Толпа тем временем разделилась на группы, они вышибают ворота и перескакивают через стены, проникают во дворы, дубасят по дверям

и кричат людям, чтобы выходили. Они ведут себя как дикари, скандируют, вопят, скаля зубы и размахивая оружием, и я вспоминаю банду, которая пришла за Борнфри; они делали так же. Одна группа движется в нашу сторону. Они валят на землю ворота и проходят прямо под нами. Мы замечаем того самого охранника; у него отняли дубинку, руки связали за спиной. Теперь он бродит босиком и выглядит полным ничтожеством, какое он и есть. Мы точно засмеяли бы его, если бы не застряли на дереве.

Затем один из них останавливается, кладет на землю оружие и, пока мы гадаем, что он задумал, расстегивает ширинку, вынимает свою штуковину и начинает поливать наше дерево. Я сижу и дрожу. И хотя понимаю, что это ничего не даст, уже дважды помолилась Богу и Иисусовой матери — на всякий случай. Во рту у меня гуава, словно горький камень; не могу ни проглотить ее, ни выплюнуть. В голове крутятся разные мысли. Что мы будем делать? Что, если он посмотрит наверх? Что они сотворят с нами, если найдут?

Закончив отливать, он застегивает брюки, подбирает оружие и присоединяется к остальным. Я крепко держусь за дерево, потому что, кажется, вот-вот отключусь.

Ого! Видали, какая у него штуковина? шепчет Гадноуз. Мы молчим.

Когда я вырасту, у меня будет такая же, говорит он.

Открывайте! Если не откроете, мы выбьем дверь. Открывайте сейчас же, сейчас же, открывайте! орут они под нами. Затем один высокий в красном комбинезоне подходит к большому окну, помахивая топором. Мы слышим, как бьется стекло.

Они окно разбили! говорит Гадноуз.

Тсс, заткнись, шепчет кто-то.

Еще один налетает на дверь с мачете и принимается рубить со всей дури, другие пристраиваются рядом со своим оружием. Охранник стоит в сторонке, как бы давая понять, что не хочет никого провоцировать. Я размышляю о том, какое выражение сейчас на его лице и какими умными словами он все это описал бы. Они продолжают рубить, молотить, колотить, но дверь, не успев рухнуть, открывается, и все ликуют. Из дома выходят двое белых, мужчина и женщина, похожие на двух крыс, которых вытащили из норы.

Мужчина — высокий и толстый, в шортах цвета хаки, рубашке цвета хаки и шляпе цвета хаки, ну прямо школьник. Он босиком, и я впервые

вижу, чтобы белый человек ходил босиком, как бы показывая, что обувь ему не по карману. Ноги у него такие волосатые, что хоть причесывай. За ним — женщина, такая худая, словно он съедает всю ее еду или у нее Болезнь. Она в черном платье и белых туфлях. Мы вообще не знали, когда залезли сюда, что тут живут белые люди.

Затем раздается такой резкий звук, и из дома показывается что-то маленькое и беленькое, похожее на игрушку.

Что это? спрашивает Гадноуз. Сперва никто не отвечает, потому что мы смотрим, пытаясь понять.

С четырьмя ногами, с хвостом, гавкает, хотя как-то странно, говорит Стина.

Это же собака! говорит Сбо. Я знаю, собачка такая!

И тогда до меня доходит, что это реально должна быть собака, а издаваемый ею звук — лай. Просто чудной какой-то, словно собачка играет либо вообще не привыкла лаять. Я никогда не видела такой мелкой собаки. Я начинаю смеяться, но затем вспоминаю, где нахожусь и что происходит. Собачка бросается на бандитов — типа готова разорвать их, а потом резко останавливается и стоит, заливаясь писклявым лаем. Бандиты

хохочут. Слушая их, можно подумать, будто они проснулись утром и решили, что именно это им и нужно сегодня: просто закинуть головы и хохотать во всю глотку. Слушая этот хохот, и не подумаешь, что они способны орудовать всякими штуками и резать людей, заливая все кровью.

Но это не похоже на собаку, это игрушка какая-то, даже лаять не умеет. Как она сможет укусить кого-то или убить? Как будет охотиться? говорит Гадноуз.

Это собака белых людей, ей положено быть странной, говорит Бастард.

Я ее вообще не испугался бы, говорит Гадноуз.

Затем белая женщина наклоняется и подбирает собачку. Она прижимает ее к груди, словно младенца. Банда снова хохочет; я все думаю, что они сейчас побросают оружие и станут пихать друг друга, давясь со смеху, или типа того. Однако человек в розовой рубашке выхватывает собачку и кидает ее кому-то, а тот ловит ее и кидает кому-то еще. Они делают вид, будто играют в нетбол, подбадривая друг друга и перебрасывая собачку.

Женщина с негодованием вскидывает руки. Она вроде бы что-то говорит. Нам не слышно из-за шума, но ясно, что она умоляет их отпустить собачку. Наконец один из них, поймав собачку,

отходит на несколько шагов от остальных, к нашему дереву.

Идет сюда, увидит нас, шепчет кто-то, но неожиданно он останавливается. Бросает на землю свой мачете, берет собачку за одну лапу, и она болтается в воздухе как тряпка. Затем он отходит на пару шагов и взмахивает ногой. После отводит ногу назад, и мы понимаем, что сейчас он наподдаст собачке.

Он собирается… начинает говорить кто-то. Но тут нога мужчины взлетает и наносит удар. Мы слышим резкое «бху», и собачка летит по воздуху, словно у нее выросли крылья. Она летит, и летит, и в конце концов шлепается где-то за стеной, громко взвизгнув. Бандиты прыгают от радости, свистят, скандируют и голосят: гол!

Чего вы хотите? кричит белый человек, и всем ясно: будь у его голоса зубы, он бы их живьем сожрал. Тогда от общей группы отделяется один — единственный мужчина вообще без оружия, — подходит к белому человеку и протягивает лист бумаги. Протягивает, будто взятку, медленно и уважительно, как и положено при общении с белыми людьми. Мы видим, как белый человек выхватывает у него бумагу, раскрывает ее и какое-то время смотрит, а потом лицо его багровеет,

точно его готовят.

Что это такое? Что это такое? говорит белый человек, тыча пальцем в бумагу. В его голосе звучит такой гнев, будто внутри сидит лев. Он нависает надо всеми, выставив голову вперед, словно вот-вот что-то сделает. Женщина стоит за ним, заламывая руки.

Читать не умеете? Вы принесли английский в эту страну, а теперь *хочите*, чтобы вам его разъяснили, ваш же язык, вам не стыдно? говорит один из них. Охранник переминается с ноги на ногу — наверное, хотел бы, чтобы его попросили прочесть бумагу; думаю, он с радостью это сделал бы.

Бред какой-то! Это незаконно, я владею этой собственностью, у меня, блядь, бумаги на нее, говорит белый человек. Лев внутри него ощетинился.

Мы в курсе, сэр. Извините, но таковы уж времена, знаете ли. Они меняются, вы же знаете. Может, когда-нибудь вы поймете, знаете, что так надо, произносит новый голос. Он такой мягкий, как у женщины, и я вытягиваю шею, пытаясь посмотреть, что это за мужчина говорит таким голосом.

Ты, кончай задабривать этих людей, я всегда

говорю тебе это! И завязывай со своим паршивым колониальным мышлением, зачем ты называешь его «сэр», он что, твой отец? Ты ведешь себя как эта продажная шкура, говорит с видом босса мужчина в красном комбинезоне. Он указывает на охранника, продажную шкуру, и тот съеживается.

А ты, глупый белый, нам без разницы, слышал? Если ты не привез эту землю с собой на корабле или на самолете оттуда, откуда сам явился, то нам, блядь, без разницы, говорит босс. И помахивает топором перед лицом белого.

Слушайте…

Что, вы слышите его, Сыны земли, вы вообще его слышите? говорит босс, оглядываясь на банду через плечо. Настоящий белый человек! У него кишка не тонка сказать черному человеку, чтобы тот слушал его в своей же стране. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните этому белому, что здесь, блядь, не Родезия[29]! говорит босс. Он уже повернулся к банде и разговаривает с ними, держа в руках топор. Голову поднял, словно и к нам обращается. Лицо у босса самое обычное; кожа

[29] Примечания: 29

Родезия — непризнанное государство в Южной Африке, которое существовало с 1965 по 1979 год на территории колонии Южная Родезия и современного государства Зимбабве.

цвета земли. Он снова поворачивается к белому и взмахивает топором.

Имей в виду, колонист поганый, отныне черный человек не будет тебя слушать, понял? Это страна черного человека, и теперь тут черный человек решает. Африка для африканцев, говорит босс под бурные аплодисменты.

Кто вы такие? говорит белый, смерив босса взглядом. По его голосу ясно, что он его презирает, всех их презирает, а если бы увидел нас, то и нас презирал бы.

Ты его не знаешь? Это помощник комиссара полиции Обей Марима, и следи за тоном, белый, потому что с ним так говорить не надо, говоришь как пердишь, произносит хриплый голос.

Нет, это вы послушайте, говорит белый, словно не слышал, как босс ему сказал, что слушать теперь нужно черных.

Я африканец, говорит он. Это, блядь, и моя страна тоже, здесь мой отец родился, я здесь родился, как и вы! В его голосе — столько боли, словно у него закипает кровь. Лев показал клыки. Вены на его шее натянулись, как тросы, лицо потемнело от гнева. Но никто его не слушает. Все просто заходят в дом, голося об Африке для африканцев. Белые мужчина с женщиной остаются на месте,

рядом с охранником, похожие на грустные растения, — они просто стоят и смотрят на банду; может, они боятся оружия и поэтому не пытаются остановить их и не идут за ними в дом.

А что конкретно значит «африканец»? говорит Гадноуз.

Тсс, гляди, говорит Бастард.

Белый человек начинает рвать бумагу на кусочки; он ее рвет, рвет, рвет и бросает обрывки на землю. Затем принимается топтать их, быстро перебирая своими ножищами. От них поднимаются облачка пыли. Он как бы танцует, топ-топ-топ, будто слышит звук барабана у себя в голове. Женщина смотрит на него, но ничего не делает.

Потом, будто этого мало, белый человек опускается на землю и начинает молотить по ней кулаками; он молотит и молотит, как Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, когда сражается с демоном. Я представляю, как белый человек разбивает себе руки в кровь и коричневая земля выпивает ее. Наконец он останавливается — может, потому, что выбился из сил, — но продолжает стоять на четвереньках, качая золотистой головой, словно никогда больше не поднимет ее; женщина опускается рядом с ним на колени и кладет руку на его широкую спину

— может, собираясь помолиться за него. Затем ее плечи содрогаются, содрогаются и содрогаются, как если бы она оплакивала весь мир. Охранник просто стоит и смотрит. Сбо снова начинает всхлипывать.

Ты что, плачешь из-за белых людей? Они твои родные? говорит Бастард.

Они же люди, ты, жопа! говорит Сбо таким жестким, жгучим голосом, какого мы у нее сроду не слышали, и я чуть не падаю с дерева, потому что никто никогда не называл так Бастарда. Никто и никогда. Я жду, что он сделает, но он смотрит на Сбо со смущенным видом.

Что они собираются делать? говорит Гадноуз, и сразу после этого мы слышим, как что-то разбивается. Белые мужчина с женщиной все так же стоят на коленях, словно даже не слышат шума, а охранник нервозно ходит кругами. Не знаю, почему он не убегает, ведь ноги у него, в отличие от рук, не связаны.

Может, они убивают вещи, говорит Гадноуз сам себе. Мы сидим и слушаем, как что-то разбивается, грохает, падает и ломается.

Я хочу быть там, тоже фигачить вещи, говорит Бастард и смеется. Он вынул карманный ножик и режет дерево, оставляя свою метку.

А я иду домой; мне надо было остаться с Чипо, так что я иду домой сию минуту, говорит Гадноуз таким тоном, словно он по горло сыт этими играми.

Погоди. Пусть сперва они уйдут, говорит Стина. К тому же посмотри на белых, они еще там и увидят нас.

Мне все равно, я ухожу. И вообще, в Будапешт больше ни ногой, говорит Гадноуз. Он начинает слезать, но Стина соскальзывает со своей ветки, как змея, вытягивает руку и хватает Гадноуза за футболку с надписью «Не дуйся, тусуйся». Рвется ткань. Мы молча сидим и ждем, Стина держит Гадноуза за футболку, точно бешеного пса, которого нельзя спускать с поводка. Бастард закончил резать дерево. Вырезал «Бастад»; пропустил «р», но вряд ли он знает, как правильно.

Спустя долгое время, когда мы уже устаем сидеть на дереве, они заканчивают все ломать и выходят из дома. Первым идет босс, топор болтается у него на поясе. Они уже почти не шумят и даже выглядят слегка уставшими. Словно изгоняли демонов и чертей. Ничего не говоря белым, они просто хватают их и уводят вместе с охранником, как скот. Когда все проходят под деревом, женщина поднимает взгляд — будто Бог шепнул

ей, будто кто-то подсказал, что мы тут. Я вижу, как черная тень набегает на ее красивое лицо; типа она хамелеон, который пытается сменить цвет и стать как мы.

Я не могу отвести взгляд от глаз женщины, но мне стыдно, что она видит нас на своем дереве, и стыдно за нее — из-за того, что мы видим, как их уводят. Черная тень не сходит с ее лица, и она все смотрит на нас, словно хочет сорвать глазами с дерева, и я начинаю думать, что мы сейчас свалимся, если она продолжит так смотреть. По этому взгляду понятно — ведь глаза умеют говорить, — что она нас ненавидит, не немножко, а изо всех сил. Она смотрит на нас молча; они проходят мимо, и мы выдыхаем.

Куда они их ведут? говорит Гадноуз своим обычным голосом.

Может, собираются убить, отвечает он сам себе. Может, отведут их в лес, чтобы никто не услышал их криков о помощи, и убьют там.

Убедившись, что они ушли-ушли, мы быстро слезаем с дерева и идем прямиком к дому. Мы впервые входим в дом белых людей, поэтому останавливаемся в дверях, словно не знаем, как входить в дверь. Гадноуз, который шел первым, вытирает ноги о коврик с надписью «Вытирайте

лапы», но остается стоять. Бастард отталкивает его и заходит в дом, типа он настоящий хозяин и у него есть ключи. Мы все вваливаемся вслед за ним.

Внутри нас обдает холодным воздухом, и мы прикрываем ладонями голые руки, чувствуя мурашки. Мы осматриваемся в удивлении.

С чего здесь так холодно, когда снаружи жара? говорит Сбо шепотом, но никто не отвечает ей, потому что не знает. Кругом все поломано. Стулья, телик, большое радио, прекрасные непонятные вещи. Мы стоим среди обломков; никто этого не говорит, но нас угнетает такой бессмысленный разбой, нам кажется, что они уничтожили наши вещи.

В гостиной мы замираем перед большой маской, висящей на стене, и глазеем на черное лицо с пустыми глазницами. Лицо длинное, узкое, брови и губы обведены белым. Лоб высокий, слегка выпуклый, разделенный посередине желтыми точками. Нос длинный, а круглый рот открыт, словно вопит. В довершение всего на макушке растет рог.

Бастард перешагивает через разбитую мебель и снимает маску со стены. Он закрывает ею лицо и начинает лаять, как собачка белых людей.

Так делают язычники, они носят подобные штуки, об этом нам рассказывал в церкви Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро, говорю я Бастарду, но он не убирает маску и все так же лает, лает и лает. Это не смешно, и никто не смеется. Мы выходим из гостиной и оказываемся в другой большой комнате с длинным столом, который теперь разбит, и множеством стульев, валяющихся повсюду. В центре потолка висит большая люстра, разбитая сбоку.

Зачем им две гостиные? говорит Гадноуз.

Это не гостиная, а столовая, говорит Бастард. Не путайся у меня под ногами и кончай задавать отстойные вопросы.

Мы пробираемся по комнате и останавливаемся у стены, увешанной фотографиями, которые не тронули.

Почему белые любят фоткаться? говорит Гадноуз.

Потому что они прекрасны, говорит Сбо.

Фотки?

Нет, белые люди.

На фотографиях мы видим женщин в длинных платьях и прикольных шляпах. Парень скачет на черной лошади; он выглядит счастливым, чего не скажешь о лошади. Мужчина стоит возле длин-

ной скалы, целясь из ружья. Он закусил нижнюю губу от напряжения, как будто у него, типа, запор и он никак не сходит. Другой мужчина одет в солдатскую форму и держит в руке красный берет. На левой стороне его груди поблескивают металлические штуковины. В объектив он смотрит как-то растерянно. Мужчина в одежде цвета хаки стоит перед маисовым полем. Мужчина и женщина женятся в окружении счастливых людей с выпивкой в руках.

Тут как в музее, говорит Сбо. Так делают в музее — смотрят на картины и вещи.

Это называется галерея, говорит Стина.

На огромной фотографии, занимающей большую часть стены, изображен высокий худой мужчина с седеющими волосами, зачесанными набок; на нем — костюм под цвет его голубых глаз. В одной руке он держит чашку с блюдцем. Свободную руку он чуть поднял, словно что-то говорит ею. Под ним видны слова: «Дост. Иэн Дуглас Смит; родезийцы никогда не умирают». На следующей фотографии карапуз держится за руки с обезьянкой. Они, словно близнецы, наряжены в одинаковые синие штуки — полурубашки-полужилеты.

Рядом с близнецами, с другой фотографии,

улыбается симпатичная женщина с округлым лицом. Она вся в побрякушках: на голове сверкает корона, на шее — ожерелье, серьги — в том же стиле. Фотография не такая уж интересная, да и женщина не такая уж красавица, но мы все стоим и глядим на нее, запрокинув головы, типа, как на флаг.

Почему у нее такой вид? говорит Бастард.

Какой? говорит Сбо.

Словно эта штука тяжелая, говорит Бастард.

Это называется корона, говорю я. А ее называют королевой. Я ее знаю.

Откуда ты ее знаешь? говорит Бастард.

Она была у нас дома. Давным-давно.

Врешь ты все. Что вообще белый человек мог забыть в твоем отстойном доме? говорит Бастард.

А вот и не вру. Была у нас под кроватью. Под кроватью Матери Костей.

Королева была под кроватью твоей бабушки? говорит Гадноуз.

Ц-ц-ц. Сбо цокает и втягивает воздух.

Ее лицо было на тех британских деньгах, которые Мать Костей держала в своей Библии под кроватью. Поэтому я ее знаю, говорю я.

Эта корона у нее на голове тяжеленная, вот она так и улыбается — будто объелась неспелых гуав.

А тяжелая она потому, что из золота, говорит Гадноуз.

Я думала, короны делают из терновника. Я видела такую на картинке в Библии, где убивали Иисуса, говорит Сбо.

Может, ты видела другую Библию. В той, что видел я, Иисус был в настоящей короне, тоже из золота. Оно и понятно, его отец ведь владеет всем миром, говорит Гадноуз.

Оба вы врете, золото не тяжелое, и никто не станет носить его на голове, говорит Бастард.

Откуда ты знаешь? говорит Гадноуз.

Мне дядя Джабу говорил. Он работал в шахте, помнишь? Он говорил, что оно желтое и блестит, а что тяжелое — ни разу не говорил. Он собирался принести нам, показать, но потом его застрелили эти сраные солдаты, говорит Бастард, и по голосу ясно, что он понтуется.

Мы знаем эту историю. Ты уже рассказывал, говорит Сбо.

Да, но я не рассказывал, как они пытались спрятать его тело. Это во всех газетах было, продолжает Бастард, но мы уже переходим в другую комнату. Я вспоминаю изуродованные руки кузена Макоси, когда он тоже работал в шахте. Оглянувшись, вижу, как Бастард стоит и поправ-

ляет свою афро, словно у него на голове корона.

В спальне все тоже переломано, но мы залезаем на кровать и прыгаем на ней — все, кроме Сбо, которая замирает перед разбитым зеркалом и красит губы красным, а потом прыскается из голубой бутылочки с парфюмом. Мы прыгаем, прыгаем и прыгаем, пружины подбрасывают нас так высоко, что мы каждый раз почти достаем руками до белого потолка. Потом, устав прыгать, мы забираемся под простыни, закрываем глаза и храпим. Кровать мягкая и пахнет так приятно, что мне совершенно не хочется вставать с нее.

Мы как Голдидоги, говорю я из-под простыней. Три медведя приближаются, добавляю я, но все молчат, и я понимаю, что они просто не читали эту историю в школе.

Давайте заниматься взрослым делом, говорит Сбо, и мы хихикаем. Теперь у нее такие губы, словно она пила кровь, и пахнет богато. Мы неловко переглядываемся, словно впервые видим друг друга. Затем Бастард забирается на Сбо. Гадноуз лезет на меня, но я его отпихиваю, потому что хочу Стину, а не голозадого Гадноуза. Стина забирается на меня и спокойно лежит, и мы все смеемся и смеемся. Я чувствую, как он давит на мой живот своим тяжелым телом, и думаю, что

буду делать, если живот лопнет и кишки брызнут во все стороны.

Мы валяемся, хихикая и занимаясь взрослым делом на мягкой кровати белых людей, как вдруг слышим звонок. Мы подскакиваем и осматриваемся, не зная, что предпринять.

Что это? говорит Гадноуз.

Телефон, говорит Стина.

Телефон! Телефон! Телефон! голосим мы и выбегаем из спальни на звук. Мы ищем телефон в гостиной и быстро находим под полотенцем. Стина открывает его и говорит: Хэллоу. Затем смеется и передает Сбо, она тоже смеется и передает Бастарду, а тот смеется и передает мне. Мой английский получше, чем у других, и я говорю: Халлоу, как ваши дела, чем я могу помочь вам в этот день?

Кто это? говорит женский голос. Интонация удивленная, как и бывает, когда ты слышишь что-то, чего не ожидаешь.

Это я, говорю я.

Что? Кто вы?

Дарлинг.

Дарлинг?

Да, Дарлинг.

Окей, это шутка? Откуда у вас этот телефон?

Нет, это не шутка, а телефон у меня от Бастарда, говорю я.

Бастарда? Окей, подождите, вы можете просто передать телефон хозяйке?

Хозяйка не здесь.

А где она? Где они?

Мы не знаем. Они их увели.

Что? Кто это мы? Кто их увел? Я слышу по ее голосу, что она, похоже, хмурится. И отмечаю, что не использовала слово «мэм», как нас учили в школе, и мне почти хочется начать разговор заново, чтобы сделать все правильно.

Банда, мэм, говорю я, исправляясь.

Какая банда?

Которая с оружием и флагами, мэм.

Куда они их увели?

Я не знаю, мэм.

Господи, Дэн, ты можешь выяснить, что происходит? Я позвонила маме с папой, а подошел какой-то стремный африканский ребенок, говорит женщина какому-то Дэну.

Все смотрят на меня — типа я важная птица, и я сама довольна, что наконец разговариваю с белым человеком, чего сроду не делала. Хотя и неправильно. Затем возникает новый голос, мужской. Он говорит на моем языке, и я смеюсь;

раньше я ни разу не слышала, чтобы белый человек говорил на моем языке. Звучит забавно, но я слегка разочарована, потому что хочу продолжать говорить по-английски.

Белый человек спрашивает у меня, что произошло, и я ему все рассказываю, только не упоминаю, что мы тырили гуавы. В конце концов он говорит, чтобы я положила телефон на место и чтобы мы уходили из дома, потому что это не наш дом и мы не имеем права находиться здесь. Я закрываю телефон и убираю обратно, под полотенце, где мы его нашли, но не передаю другим слова мужчины о том, что надо уходить. Я уже размышляю, сколько людей из Парадайза могли бы жить в таком большом доме. Может, пять семей, может, восемь.

На кухне из кранов льется вода, и мы их закрываем. Стол и стулья перевернуты, а тарелки, чашки, чайники и приборы валяются на полу. Мы открываем холодильник и с удивлением обнаруживаем, что его не тронули. И тут же набрасываемся на хлеб, бананы, йогурт, напитки, курицу, манго, рис, яблоки, морковь, молоко и все, что там есть. Мы едим то, что никогда не видели, названий чего даже не знаем.

Ми зобили уилки, ми зобили уилки, пере-

дразнивает Гадноуз акцент белых людей, и мы хихикаем. Он направляется к буфетам и роется в них, роется, роется и возвращается с блестящими вилками и ножами, и после мы едим уже как культурные белые люди. Не попадая вилкой в рот, смеемся, а затем отбрасываем приборы и снова едим руками. Мы набиваем и набиваем животы, набиваем до тех пор, пока еле можем дышать.

Я хочу какать, говорит Гадноуз, и мы все выходим с кухни на поиски туалета. Наши животы так раздулись, что готовы лопнуть. Мы передвигаемся как слоны, потому что отяжелели и устали от еды. Туалет мы находим в конце длинного коридора. Там стоит большая белая круглая штуковина, в которой они купаются, а еще есть стеклянный душ, разное мыло, приборы и какие-то вещи. Но мы чуем жуткую вонищу, смотрим в другую сторону и видим там, возле унитаза, коричневые слова «Чорная сила», написанные фекалиями на большом зеркале.

Взаправду

Пение такое далекое, словно доносится, типа, из-под земли, как если бы голоса похоронили и теперь они пытаются выбраться наружу. Мы ждали этого почти весь день, поэтому, услышав, бросаем играть и несемся к большому дереву посреди Хэвенвэя. Мы взбираемся на дерево с удвоенной скоростью и через несколько минут уже сидим на верхушке. Я устраиваюсь поудобнее, найдя хорошую крепкую ветвь и убедившись, что меня надежно скрывает листва.

Смотрите туда, вон они идут, говорит Гадноуз, и мы видим, как скорбящие возникают из-за большого муравейника и двигаются к Хэвенвэю. Они хоронят Борнфри, несмотря на предупреждение, что будет плохо, если их застукают. Мы смотрим на них с дерева, потому что нам на похороны нельзя — детей не пускают на Хэвенвэй. Взрослые не знают, что мы проскальзываем сюда всякий раз, когда хотим посмотреть на похороны, как сейчас, или просто побродить и даже поиграть.

Хэвенвэй — это насыпи из красной земли, много насыпей, в которые будто специально за-

манивают людей; будто смерть ждет за валуном с большой сумкой бесплатной еды, и люди ломятся к ней, спотыкаясь друг о друга, чтобы успеть первыми, пока не раздали все ништяки. Вот поэтому мертвые все приходят и приходят.

А на красных насыпях лежит всякая всячина в память о покойных: разбитые тарелки, расколотые чашки, дубинки кнобкерри[30], кучки камней, ветви мфафы. Все такое грустное, несуразное и некрасивое. Не понимаю, почему люди не стараются сделать это место приятным — например, покрасить кресты, прополоть траву, посадить цветы, — раз уж мертвые сами не могут. Будь я мертвой, мне этого хотелось бы. Чтобы моя могила была симпатичной, а не отстойной.

Раньше я очень боялась кладбищ, смерти и всего такого, но уже не боюсь. Просто смысла нет бояться, когда живешь так близко к могилам; все равно что языку бояться зубов. Больше всего на Хэвенвэе мне нравятся кресты с именами мертвых. Если мы не смотрим на похороны, то иногда бродим тут и читаем имена на могилах. Я всегда пытаюсь представить, что знала этих людей, и придумываю истории с ними или рассказываю

[30] Примечания: 30

Кнобкерри — деревянная дубинка, используется в племенах Южной и Восточной Африки.

им, что произошло за все то время, что они лежат под землей.

Когда смотришь на имена рядом с датами, понимаешь, что теперь это реально мертвые люди. А если знаешь математику, как я, то можешь подсчитать, кто сколько прожил, и понять, что они умерли молодыми, что жили не дольше мышей. Человек должен жить полную жизнь, доживая до самой старости, как Мать Костей, к примеру. Это Болезнь их убивает. Никто не способен вылечить ее, и она творит что хочет — убивает-убивает-убивает, как псих, который рубит незрелый сахарный тростник.

Первыми появляются гробоносцы, шествующие впереди скорбящих. Они проходят прямо под нашим деревом, неся гроб на плечах, их длинные туфли, кирпичного цвета от пыли, ударяются о землю и поднимаются одновременно — вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо, — словно ноги играют на маримбе, спрятанной под красной мозолистой кожей земли.

Так они и идут, шестеро мужчин с каменными лицами и молниями в глазах, без лишних движений — только вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо. Хорошо маршируют, поэтому мы переглядываемся и улыбаемся. Гроб

Борнфри накрыт флагом с черными, красными, желтыми и зелеными полосами и с белым сердцем спереди. В последнее время мы видели немало таких гробов; это всё люди, ждавшие Перемен, как и Борнфри.

Следом появляется толпа скорбящих. На нашей памяти никогда еще на Хэвенвэе не было столько человек; люди буквально текут рекой, не вмещаясь в узкие дорожки. Многие в черных футболках с белым сердцем посередине или со словом «Перемены». Но эти скорбящие не похожи на тех, что приходят обычно. Эти не плачут, не стенают. Не опускают глаза к земле, не скрещивают руки за спиной. Не сдерживают шаг. Они бегут за гробом. Свистят, вскидывают кулаки. Скандируют имя Борнфри, словно призывают его появиться — где бы он ни был. Эти скорбящие сердиты.

Среди моря тел мы узнаем взрослых из Парадайза. Вон мама, вон МаМойо и даже Мать Костей. Мать-Любовь. Дигнити. Чензира. Сонени. Мужчины. Прихожане церкви Святой Колесницы. Почти все взрослые тут, но они на себя не похожи, они похожи на кости, с которых обглодали мясо.

В дни после голосования и вечеринки в лачуге Матери-Любви Парадайз не спал. Взрослые гудели несколько ночей, взбудораженные ожи-

данием, не зная, как им усидеть на месте, не зная, как они могут сутулиться в лачугах, не зная, как спать, не зная, как делать хоть что-нибудь, кроме как собираться вокруг костров и говорить о новой жизни, которая их ждет.

Первое, что я сделаю, — это заимею дом, где смогу стоять в полный рост. Ага, реальный дом, подходящий такому мужику, как я.

Я доучусь последний год в университете. Заберу своих детей с этих жутких улиц, знаете, призову назад тех, кто за границу уехал, скажу возвращаться домой. Знаете, соберу снова семью, чтобы по-людски, знаете?

Эх, заживем. Как раньше уже не будет. Придите, перемены, поскорее.

Вот такие разговоры они вели, не спали ночь за ночью и ждали скорейших перемен. Ждали, ждали и ждали. Но ожидание не прекращалось, а перемены не наступали. И тогда пришли те люди за Борнфри. И все, взрослые перестали говорить о переменах. Как будто и не было ничего — ни голосования, ни вечеринки, ни всего остального. Взрослые просто тихо разошлись по своим лачугам — проверить, не отвыкли ли сутулиться. Они не отвыкли; они сутулились лучше, чем ветка с переспелыми гуавами. Теперь все в жизни

по-старому, но взрослые стали другими. Когда смотришь на их лица, кажется, словно что-то собрало вещи и ушло.

Мессенджер тоже тут, среди скорбящих, и на его лице столько гнева и боли, что он на себя не похож, даже лицо его на лицо не похоже. Если бы Мессенджер открыл сейчас рот, то голос его стал бы зияющей раной; вся боль — на его лице. Не знаю, что он будет делать без Борнфри, ведь они везде ходили и все делали вместе, словно пара ушей.

За всеми идут двое мужчин в кепках Би-би-си. Один приклеился к своей камере, а другой фотографирует. Мама Борнфри, МаДюбе, одета в платье цвета крови, хотя, когда люди умирают, положено носить черное, а не красное или какое-то другое. Черный — для мертвых, красный — для опасности. Она корчится и рычит, как раненый лев. Ее мучит боль; всем видно и слышно, что боль настоящая. Боль-боль. Другие женщины держатся за МаДюбе, будто боятся, что лев прыгнет в небо и разорвет солнце на кровавые лоскуты.

Скорбящие становятся в круг. Гроб поставили возле могилы. За всеми этими телами трудно что-то рассмотреть, поэтому я забираюсь на верхние ветви. Когда наступаю на ветку и она хрустит,

Стина глядит на меня и хмурится, приложив палец к губам. Я тоже хмурюсь в ответ, как бы говоря, что никто нас не увидит через такую листву и не услышит в таком шуме.

В изголовье могилы встает высокий мужчина с пышной копной волос и начинает говорить. Скорбящие затихают, но все равно под этой тишиной что-то скрывается. Вроде гнева. Мужчина кричит, и голос его поднимается, как дым, мимо нас, к Богу. Он говорит о стране и втором туре выборов, о героях, о демократии, об убийстве и свободе, о правах человека и еще о всяком-разном. Скорбящие впадают в неистовство; будто их сейчас оскорбили. Человек из Би-би-си щелкает и щелкает своей камерой, как одержимый.

Скорбящие уже в исступлении и не могут больше сдерживаться. Они гомонят и кивают. Кричат и топают. Маршируют, как на демонстрации. Пляшут, стуча ногами по земле с такой силой, словно хотят растоптать ее. Затем Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро поднимает свою Библию и начинает произносить святые слова. Скорбящие стихают. Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро читает стих, и молится, и называет Борнфри Моисеем, который пытался вывести свой народ в Ханаан. Он говорит еще больше всяких святых

вещей, расходясь все сильнее и сильнее, и я не понимаю, как он не устает от разговоров с Богом, который даже ничего не делает, чтобы показать, что он Бог.

В первые дни после голосования Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро и прихожане Святой Колесницы совершали бдения на Фамбеки, молясь за перемены, и призывали всех подняться к ним на гору и молиться за страну. Смотреть на них было любо-дорого, а когда они бывали в ударе, Фамбеки воспламенялась от их голосов, словно неопалимая купина; пение, распевы, проповеди и молитвы возносились к небесам, а потом скатывались по горным склонам подобно камням, побивая всех, кто проходил мимо. Когда же никаких перемен не случилось, голоса богомольцев стали стихать и складываться, будто крылья бабочки, и богомольцы скатывались с Фамбеки подобно сломанным костям и ковыляли прочь. Но теперь они тут как тут, словно Бог не бросил их в тот раз.

Скорбящие выходят из себя, начинают переминаться с ноги на ногу и бубнить, так что Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро сворачивает свои речи, возможно опасаясь людского гнева. Пришло время похорон. Когда мужчины аккурат-

но опускают гроб с Борнфри в могилу, лев МаДюбе превращается в бешеного быка. Ослепленный лютым красным платьем, бык ревет: Убили сына моего! Единственного сына убили! Борнфри, сын мой! Кто теперь без тебя меня похоронит! Бык ревет и ревет, вырываясь из рук людей и норовя броситься на гроб. Я смотрю на Бастарда и вижу в его глазах слезы, чего совсем не ожидала. Заметив мой взгляд, он хмурится и отворачивается.

Скорбящие бросают горсти земли в могилу, и лопаты спешно закапывают ее. Они управляются в два счета, возможно, чтобы бешеный бык не вырвался и не обратился в червя, который зароется в землю и откажется вылезать; я и раньше видела, как некоторые люди хотели прыгнуть в могилу или вытворяли что-то несусветное. Когда землю утрамбовывают аккуратным холмиком и ставят на могилу табличку с именем Борнфри, МаДюбе опускается на колени, словно в молитве. Теперь она успокоилась, и ее отпускают. Она садится на корточки и принимается похлопывать могилу, словно маленькая девочка, слепившая куличик. Скорбящие заводят похоронную песню:

Чия люмлаба, лентозауо,
табат исфамбано уланделе,

нгоно нгиз хамбеле мина нгалиндела,
чия люмлаба, лентозауо…[31]

И когда поют «лентозауо», бык подскакивает и несется через кладбище. МаДюбе бежит, призывая сына во весь голос. Сбо разбирает смех, а Бастард говорит: Заткни свою пасть, это же похороны. Люди кричат МаДюбе, чтобы она остановилась и вернулась. Они выкрикивают ее имя, но она знай себе бежит, только пятки сверкают. И исчезает из виду.

После того как все расходятся — кто-то идет за МаДюбе, кто-то просто уходит, потому что больше тут делать нечего, — мы слезаем с дерева. На могиле Борнфри мы видим никем не тронутые отпечатки ладоней МаДюбе — дюжина морщинистых ладоней, аккуратно составленных вместе, образует красивый узор. Табличка на могиле гласит: «Борнфри Лизве Тапера, 1983–2008, RIP Наш Герой. Умер за Перемены».

Что бывает, когда кто-то умирает? говорит Гадноуз.

Мы не знаем, мы еще не умирали. Кого ты спрашиваешь? говорит Сбо.

---

[31] Примечания: 31

Оставьте землю как она есть, / возьмите крест и следуйте за мной, / лучше идите ко мне этим путем, / оставьте землю как она есть (*коса*).

Да. Иди, спроси свою маму, говорит Бастард.

Когда люди умирают оттого, что их убили, они становятся призраками и скитаются по земле, потому что не могут обрести покоя, говорит Стина. Мы поворачиваемся к нему; он стоит, не сводя глаз с могилы, словно она его собственная.

Что ж, может, если Борнфри теперь призрак, то он найдет всех тех людей, которые убили его, и сожжет их. Я слышал, что призраки могут бросать раскаленные угли и сжигать вещи, говорит Гадноуз.

Моего дедушку убили раньше, чем мы родились, говорю я. Может, он призрак…

Но умник Бастард перебивает меня: Я Борнфри. Убейте меня!

Сперва мы просто стоим, глядя на могилу, будто хотим, чтобы она подсказала нам правила игры в мертвых, поскольку в такую мы еще не играли. Затем Гадноуз принимается гудеть и урчать, и мы понимаем, что он — грузовик, на котором приехали за Борнфри вооруженные люди. Он звучит все громче и громче, и мы вступаем в игру. Мы быстро хватаем дубинки, мачете, ножи и топоры и залезаем в грузовик. Стина снимает футболку с надписью: «Что сделал бы Иисус?» и размахивает ею, потому что теперь это флаг

страны, и мы тычем в него оружием и распеваем имя президента.

Гадноуз — машина что надо; он урчит, гудит и месит пыль, пока не останавливается, чтобы мы могли выйти, а затем меняется и становится одним из нас. Он снимает футболку с эмблемой «Арсенала» и размахивает флагом страны. Теперь мы смеемся, скандируем и распеваем военные песни, машем оружием. Удаль кружит наши головы; мы кровожадные животные.

Но сперва мы танцуем. Вскидываем оружие над головами, поем, скандируем и свистим. Мы высоко подпрыгиваем, топочем по земле, вздымая пыль. Крутимся как заводные, рубим воздух оружием. Наши лица искажаются; мы переглядываемся и видим, что стали свирепыми и страшными взрослыми. Стина так разинул рот, что я вижу его розовое горло. Он машет топором, кусает воздух своими собачьими зубами, и я смеюсь.

После танца мы налетаем на Бастарда, который теперь Борнфри. Дубасим его и кричим ему в лицо:

На кого ты работаешь?

Продажная шкура!

Кто тебе платит? Америка и Британия?

Чего же ты не позовешь на помощь Америку с Британией?

Дружок колонистов!

Продаешь страну белым!

Думаешь, можешь голосовать, за кого захочешь?

Давай, голосуй, продажная шкура, а мы посмотрим!

Хочешь перемен, сейчас мы покажем тебе перемены!

Вот тебе демократия, права человека, жри их, жри, жри, жри!

Затем Гадноуз взмахивает молотком, проводя в воздухе прямую линию. Он ударяет Борнфри по затылку, и я слышу, как что-то хрустит. Сбо замахивается топором и попадает ему по виску, над ухом. Мачете рассекает лицо Борнфри от глаза до подбородка. Потом мы все набрасываемся на него. Лупим-бьем-мутузим-дубасим. Топором по голове, ногами по ребрам и бедрам, дубинками повсюду. Когда все наше оружие обрушивается на единственного человека, кажется, что мы избиваем песчинку; оружия так много, что одно врезается в другое. Но мы лишь смеемся и наносим удары. Удары-удары-удары. А Борнфри за все время не издает ни звука.

Повсюду кровь, много крови, просто кровь. Наконец мы прекращаем избиение, и кто-то говорит: Вставай и иди. Вставай. Но Борнфри не может встать. Он ползет по земле — медленно, ме-е-едленно, точно отравленный толстый таракан.

Ну, как тебе вкус перемен?

Давай вставай. Тебе надо встать и проголосовать!

Как же ты увидишь перемены, если лежишь тут и бездельничаешь?

Мы глумимся, смеемся и снова мутузим его.

Чипо, которая не могла залезть на дерево с нами, становится мамой Борнфри, МаДюбе. Она катается по земле чуть в стороне. Сбо бежит к ней, чтобы удержать, но МаДюбе мечется, как рыба на песке, как бесноватая змея, и кричит без остановки. Кричит-кричит-кричит.

Пустите! Пустите и спасите моего сына! Почему никто не спасает моего сына?! Почему вы стоите и смотрите?! Вы засранцы, почему вы просто стоите и позволяете такое?! МаДюбе кричит могилам, означающим жителей Парадайза, которые не двигаются и ничего не делают.

Прошу тебя, МаДюбе, прошу, не надо, хочешь, чтобы они тебя убили? Сбо становится доброй женщиной с ласковым голосом.

Пустите! Пустите! Лучше пусть они меня убьют, чем сына. Лучше пусть…

И тут же фонтан крови, как стрела, выстреливает в небо и забрызгивает все вокруг. МаДюбе прижимает руки к груди и теряет сознание.

Но удары не прекращаются. Мы скандируем и поем все громче и громче. Мы топчем землю, вздымая пыль. Борнфри теперь полуголый и выглядит как изодранное, окровавленное существо, а не человек. Он по-прежнему не произносит ни звука, словно пытается быть Иисусом, но я не думаю, что сам Иисус вел бы себя так, ведь в Библии даже есть такой стих: «Иисус прослезился».

Люди Парадайза тоже не издают ни звука. Повисает большая черная тишина, будто они смотрят на что-то священное. Однако в глазах взрослых мы видим гнев. Безмолвный, но явный. И все же что значит гнев, когда его держат внутри, как сердце, как кровь, когда его не выпускают, не переводят в удар или хотя бы в крик? Такой гнев ничего не значит, он не считается. Это просто большая и страшная, но беззубая собака.

В конце концов мы останавливаемся. Мы устали. Наши голоса охрипли. Лица осунулись. Оружие свисает с поясов, всё в крови. Одежда в крови. Флаг нашей страны в крови.

Они его убили, шепчет кто-то. Господи, он совсем умер.

Мы забираемся в грузовик, и Гадноуз отъезжает, гудя и урча.

А что это за игра? слышим мы чей-то голос. Мы оборачиваемся и видим тех двоих из Би-би-си. Они смотрят на нас через свои штуки, стоя среди могил. Камера щелкает несколько раз, снимая нас. Затем высокий, весь волосатый и с зарослями на лице, снова спрашивает: В какую игру вы сейчас играли?

А Бастард надевает футболку и говорит: Не видите, что ли, это взаправду!

Как они уходили

Смотрите, как они валом валят, дети этой земли, только посмотрите, как они валом валят. Те, у кого ничего нет, переходят границы. Те, у кого есть силы, переходят границы. Те, у кого амбиции, переходят границы. Те, у кого надежды, переходят границы. Те, кто с утратами, переходят границы. Те, кому больно, переходят границы. Уходят, уезжают, убегают, эмигрируют, отбывают, дезертируют, смываются, улетают, удирают — кто куда, в страны близкие и далекие, в страны, о которых слыхом не слыхивали, в страны, чьи названия не могут выговорить. Все валом валят.

Когда все разваливается, дети земли мечутся и разлетаются, как птицы, спасающиеся от горящего неба. Они бросают свою гиблую землю, чтобы утолить голод в чужих землях, чтобы утереть слезы в неизвестных землях, чтобы перевязать раны отчаяния в далеких землях, чтобы бормотать исступленные молитвы во тьме неведомых земель.

Смотрите, как они валом валят, оставляя свою землю, — эти дети своей земли, с кровавыми ранами на телах и шоком на лицах, с кровью

в сердцах, с голодом в животах и со скорбью в шагах. Оставляя своих матерей, отцов и детей, оставляя свои пуповины, оставляя кости предков в земле, оставляя все, что делает их теми, кто они есть, — оставляя, потому что нельзя больше оставаться. Они никогда уже не будут прежними, потому что невозможно быть прежним, оставив то, что делает тебя тобой, просто невозможно быть прежним.

Смотрите, как они валом валят, хотя и знают, что их не ждут с распростертыми объятиями в этих неизвестных землях, ведь они там чужие; хотя и знают, что им придется сидеть на одной ягодице, ведь в любой момент их могут попросить на выход; хотя и знают, что будут не говорить, а перешептываться, ведь они не должны возвышать свои голоса над голосами хозяев этой земли; хотя и знают, что им придется ходить на цыпочках, потому что они не должны оставлять следов на новой земле, чтобы никто не подумал, будто они имеют претензии на нее. Смотрите, как они валом валят, рука об руку с безнадегой, смотрите, как валом валят.

Дестройдмичиген

Если вы придете сюда, где я сейчас стою, и посмотрите в окно, то не увидите мужчин, сидящих под цветущей жакарандой за игрой в шашки. Бастард, Стина, Гадноуз, Чипо и Сбо не позовут меня в Будапешт. Вы даже не услышите, как лоточница расхваливает свой товар, и не увидите, чтобы кто-то играл в страны или гонялся за летучими муравьями. Какие-то вещи есть только в моей стране, а это не моя страна; чья — не знаю. Этот толстяк, Ти-Кей, который мне вроде как кузен, хотя прежде я его не видела, говорит: Это Америка, йоу, ты не увидишь никакого африканского дерьма в этой мазафаке.

Что вы увидите, если придете сюда, так это снег. Снег на голых деревьях, снег на машинах, снег на дорогах, снег во дворах, снег на крышах — снег, просто снег, покрывающий все, как песок. Он белый, как чистые зубы, и еще очень, очень холодный. Кроме того, он алчный монстр — только посмотрите, как он все поглотил. Где теперь земля? Где цветы? Трава? Камни? Листья? Муравьи? Мусор? Где все это? А что до холода, то

с таким я еще не встречалась. Это такой холод, который словно хочет убить тебя, словно он со своим снегом велит тебе уходить туда, откуда пришла.

В гостиной тетя Фосталина занимается тем, что ходит, ходит и ходит. Очень странно — она ходит на месте. Может, если бы не этот снег, покрывающий все вокруг, она ходила бы по улице, как и положено людям. МаДюбе вот так же ходила, просто ходила, ходила и ходила, не направляясь никуда конкретно. Это потому, что МаДюбе страдала безумием после того, как убили ее сына, Борнфри, а вот насчет тети Фосталины я ничего не могу сказать, не знаю, что с ней такое.

Когда она ходит, то машет руками вперед-назад, как мжинго[32], и считает при этом. Три-четыре-пять-шесть — и ходит, и ходит. Дядя Коджо, отец Ти-Кея, который как бы муж тети Фосталины, но не прямо муж-муж, потому что я не думаю, что они реально поженились, приходит с работы и говорит: Фосталина, «Львы» и «Гиганты» еще в игре, не? Речь у дяди Коджо такая, будто у него во рту что-то гонится за словами и они разбегаются в страхе. Но тетя Фосталина ему не отвечает; она

---

[32] Примечания: 32
Mjingo — шовинист (*коса*).

старается не отставать от женщин из телика — четыре-пять-шесть — и ходит, и ходит.

Это я на фотографии, в розовой рубашке; я тогда еще жила в своей стране. Фотографию сделала тетя Фосталина, когда приехала за мной. На память, ведь все, что у тебя останется однажды, — это фотографии, так она сказала. Это Бастард, а это Гадноуз, а это Чипо, а это Стина, а там идет сестра Гадноуза, С'бале. Не знаю, где была Сбо, когда мы фотографировались. А на этом снимке тетя Фосталина с мамой, они близняшки. Тетя Фосталина красотка, но я думаю, что мама гораздо красивее; если бы она родилась здесь, то стала бы моделью или типа того. Хотя я видела, что некоторые модели не такие уж красавицы, и непонятно, что они делают в телике; я смотрю на них, на то, как они ходят по подиуму, и думаю: если бы вы родились в моей стране, то были бы как все, а ваш подиум был бы границей, где вы просто продавали бы вещи, как моя мама.

Когда я уезжала, мама не выпускала мою руку из своей, я думала, она ее оторвет. Мать Костей посмотрела на меня по-доброму — я никогда не видела, чтобы она на меня так смотрела, — и сказала: Не знаю правда не знаю дитя может больше не свидимся не знаю я буду ждать тебя

когда ты вернешься но что это за жизнь когда вы все рождаетесь и валом валите в чужие земли что от страны останется развалины? Я ничего не ответила, потому что, хотя это и был вопрос, Мать Костей, как обычно, говорила сама с собой.

За несколько дней до моего отъезда мама привела меня к Вадлозе, который заставил меня вдохнуть дым из гурда[33], и я чихала, и чихала, а он улыбнулся и сказал: Предки — твои ангелы, они перенесут тебя в Америку. Затем просыпал табак на землю и сказал кому-то, кого я не видела: Открой путь своему блудному детенышу, ты, Вусамазулу, вымости небеса, призови своих отцов, Мпабангу, Нкабайезве и Махлатини, и обнажите ваши могучие копья, дабы расчистить пути и защитить дитя от темных духов в ее путешествии. Доставьте ее в целости и сохранности в ту неведомую страну, куда ни вы, ни бывшие до вас и не мечтали ступить.

Наконец он привязал к моей талии косточку на радужной бечевке и сказал: Это твое оружие, оно отведет все зло в этой Америке, ни за что не снимай его, слышишь? Но потом, когда я прилетела в Америку, собака в аэропорту лаяла, и лаяла, и

---

[33] Примечания: 33
Gourd — тыква бутылочная (*коса*).

нюхала меня, и женщина в униформе отвела меня в сторонку, поводила по мне палкой, и палка издала звук «динь-динь», а женщина спросила: Ты везешь какое-нибудь оружие? Я кивнула и показала мое оружие от Вадлозы; а тетя Фосталина сказала: Это что за хрень? Она сняла с меня косточку и выбросила в ведро. И теперь у меня нет оружия, чтобы отбиваться от зла в Америке.

Со всем этим снегом и без солнца, с холодом и сумраком это место не похоже на мою Америку, оно вообще не похоже на что-то реальное. Мы словно находимся в страшной истории, вроде тех безумных частей из Библии, где Бог занимается тем, что карает людей за грехи и насылает на них бедствия с помощью погоды. Небо, например, остается белым все время, что я живу здесь, и что-то с этим точно не так. Камням и то известно, что небо должно быть голубым — таким голубым, как у нас дома, таким голубым, что хоть «Клороксом» его побрызгай и разотри бумажной салфеткой, оно ничуть не побелеет.

И еще: с места, где я стою, не видно, но в этом снегу есть токолоши. Ночью мне снится, как они выходят оттуда и говорят: Эй, хочешь, сделаем снеговика? Как твои дела? Откуда ты родом? Потом говорят: Тебе нравится «Классный мюзикл»

или «Такая Рэйвен»? Говорят: Ты в «Макдоналдс» хочешь или в «Бургер Кинг»? Говорят: Тебе нравится Джастин Бибер? И я кричу токолошам, чтобы оставили меня в покое.

Дядя Коджо смотрит, как тетя Фосталина ходит на месте, складывает руки на груди и говорит: Знаешь, лично я не понимаю, зачем ты все это делаешь. Что ты с собой делаешь, Фосталина, чесслово, что? Мах ногой. Мах рукой. И ногой. И рукой. Посмотри на себя, кожа да кости. Одни кости. И ради чего? Они даже не африканки, эти женщины, за которыми ты повторяешь, — это ни о чем тебе не говорит? Три-четыре-пять-шесть, и ногой. И рукой. О том, что в женщине нет ничего африканского, если у нее ни ляжек, ни бедер, ни живота, ни зада. На корточки. Колени согнуты. На корточки. Колени согнуты. На корточки.

Он, дядя Коджо, говорит: И когда я в прошлый раз отослал маме семейные фотки, она аж расплакалась. Ай-ай-ай, сынок, о, я тебя умоляю, корми жену как следует и не вздумай привезти ее в таком виде, ты нас опозоришь. Так и сказала мама моя. На корточки, колени согнуты. На корточки. Колени согнуты. На корточки. Колени согнуты. Теперь влево, два выпада. И апперкот. Еще разок.

Когда дядя Коджо приходит с работы, он только и делает, что сидит перед теликом. Тетя Фосталина говорит: Коджо, когда ты уже куда-нибудь сходишь с детьми? Тебя вечно нет дома, а когда появляешься, просто валяешься перед чертовым теликом и смотришь этот поганый футбол. Ты можешь сводить их в кино, или в молл, или еще куда-нибудь? Но я думаю, она говорит это лишь затем, чтобы самой смотреть телик, на этих шагающих женщин. Дядя Коджо, похоже, не слушает ее; от него слышно лишь одно: тачдаун! А дальше он произносит что-то на языке, которого никто не понимает. Он не из нашей страны, и мы не знаем его языка, а он — нашего; он из Ганы. Ти-Кей тоже не знает отцовского языка, он не ганец; мама его — американка, он родился здесь.

Дядя Коджо говорит Ти-Кею: Эй, сколько раз нужно повторить, чтобы ты подтянул брюки, а? Если ты их так спускаешь, то почему бы не ходить вообще без них? Почему не расхаживать в одних трусах? Почему вообще не снять всю одежду и не бегать голышом, а? Ты хочешь походить на этих оборванцев, которые обтирают углы, курят и сквернословят, — слишком глупых, чтобы понять, насколько легко им все дается? Вот кем ты хочешь быть, а? Ти-Кей что-то бормочет в

ответ, подтягивает брюки, а потом уходит к себе в комнату и сидит там час за часом.

Однажды я заглянула посмотреть, чем он там занимается. Он просто сидел на кровати с этой штукой на коленях и бузовал-бузовал-бузовал, а по экрану дождем сыпались пули и бомбы. Я сказала: Что ты делаешь? А он сказал: Не видишь, играю? И я сказала: Что это за игра, если ты один в нее играешь? А он сказал: Иди в жопу. Не буду я дружить с Ти-Кеем; он закрывается, как будто живет в собственной стране, сам по себе. К тому же не разговаривает на моем языке, а еще считает, что я смешно говорю.

Будь я дома, я точно не стояла бы у окна из-за того, что какой-то снег не дает мне выйти на улицу и жить своей жизнью. Возможно, мы со Сбо, Бастардом, Чипо, Гадноузом и Стиной бродили бы по Будапешту и тырили гуавы. Или играли бы в «Найди бен Ладена», либо в страны, либо в виллибол. Правда, еды у нас там мало, поэтому я и торчу теперь здесь, в Америке, с этим снегом; здесь еды хватает, какой хочешь. Хотя иногда бывает, что я чувствую голод, сколько бы ни съела, — словно голодаю по своей стране, и ничего с этим не поделаешь.

Я смотрю, как эта черная машина на той сто-

роне дороги пытается сдвинуться с места, — и никак; ночью снег заполз под нее и пленил ее бедные колеса. Машина лишь чуть трогается, совсем чуть-чуть, а потом застревает, точно навозный жук, лезущий в гору с большим шариком навоза. Теперь и тот, кто в этой машине, тоже застрял в холодном снегу.

Снег, падая, не издает ни звука. Вот почему я слежу за ним — очень уж он хитрый. Порой проснешься и видишь кучи, огромные белые кучи, а ты даже не слышала, как они появились. Каким образом нечто настолько большое, способное покрыть все вокруг, возникает так тихо, что ты даже не замечаешь его приближения? Ни малейшего звука — ни треска, ни хруста, ни грома, ни звона, ничего такого, что походило бы на правду. Теперь-то мне ясно, чего ему надо: он ждет, когда я выгляну, чтобы и меня накрыть, но я из этой двери ни ногой. Тетя Фосталина говорит, что нас завалило снегом и в ближайшее время мы не выйдем. Я говорю, что останусь дома, потому что знаю, чего надо этому снегу.

Если бы дома здесь не обогревали, то, думаю, мы все уже погибли бы. Погибли от этого снега и холода, которые работают в паре; это не обычный холод, на который можно пожаловаться и зани-

маться другими делами. Нет. Этот холод не такой. Этот холод отнимает жизнь, проникает в тебя и выжигает кости. Никто не говорил мне об этом, когда я сюда собиралась. Если бы кто-нибудь отвел меня в сторонку и как следует растолковал бы насчет холода и всего вот этого, я реально не знаю, что я сделала бы, села бы вообще в тот самолет или нет.

Вчера из нашей страны приехал кузен тети Фосталины, Принц, но через две недели он переедет жить к своему брату в место под названием Техас. Сейчас он спит, потому что устал слишком долго сидеть в самолете. У Принца шрамы от ожогов на руках и спине, в тех местах, где его обожгли. Он молодой, но выглядит пожилым, старше дяди Коджо; может, похож на Мдавини из наших мест, у которого шестеро детей. Лицо у него жесткое и страшное, и в глазах нет света, будто снег проник туда и погасил его.

Тетя Фосталина заканчивает ходить и спрашивает: Думаешь, я теряю вес? Кто толще: я или тетя Да? Кто толще: я или твоя мама? Затем опускается на большой мяч и дремлет на нем. Затем поднимает эти железки и говорит: Я сяду на фруктовую диету. Затем встает и снова принимается ходить, размахивая руками взад-вперед, взад-вперед. Те-

тя Фосталина тощая и скоро будет кожа да кости, как отец, который прикован к постели и просто ждет смерти.

Дядя Коджо приходит домой с работы и говорит тете Фосталине: Знаешь, лично я не понимаю, Фосталина, почему в этом доме никогда нет горячей пищи. Тетя Фосталина, выжимающая апельсин, поднимает на него взгляд: Нет пищи в этом доме, Коджо, правда? Но я только вчера ходила в магазин; чем, по-твоему, забит холодильник, а, кирпичами? А он говорит: Фосталина, с тех пор как ты принялась худеть, ты не готовишь. Когда в этом доме в последний раз был настоящий ужин, а? Знаешь, в моей стране жены, вообще-то, каждый день готовят горячую пищу мужьям и детям. И мало того, еще занимаются стиркой, глажкой, содержат дом в чистоте и все такое.

Толстый Ти-Кей подтягивает брюки и бормочет: Патриархальный мазафака, а тетя Фосталина бросает остаток апельсина в ведро и говорит: Да, в твоей стране — возможно, но это Америка, и нца убон энган улебойи лафа манж узачечела нгереза фанами[34]! И дядя Коджо качает головой и уходит, поскольку ни слова не понял. Но я думаю, это

---

[34] Примечания: 34

...видел бы ты того мальчика, он тебе рассказал бы обо мне (*зулу*).

и к лучшему, что дядя Коджо не понял слов тети Фосталины, иначе очень, очень рассердился бы.

Этот симпатичный Обама в телике, который говорил: Да, мы можем, Америка, да, мы можем, — становится президентом. Он не выглядит старым, как наш президент; он выглядит, возможно, как сын нашего президента. Повсюду толпы и толпы людей, белых, черных и коричневых, просто людей, и они радуются, веселятся и хлопают в ладоши. Принц смотрит на все это со слезами на глазах, пожимает мою руку с такой силой, словно хочет сломать, и говорит: Видишь? Это демократия. Нам дома даже нельзя произносить это слово. А затем качает головой и смеется-смеется-смеется, пока толстяк Ти-Кей не говорит: Чокнутый мазафака. Принц разговаривает сам с собой, будто в голове у него полно людей, которым нужно что-то рассказать.

Когда микроволновка динькает, толстый Ти-Кей вынимает из нее пиццу и ест. Когда микроволновка опять динькает, он вынимает куриные крылышки. А потом — буррито и хот-доги. Он ест, ест и ест. Всю еду, которую Ти-Кей съедает за день, мы с мамой и Матерью Костей дома ели бы, наверное, дня два-три.

На улице сейчас разгребают снег — так много

его нападало. Я думаю, очень хорошо, что его разгребают; уж слишком много белого, словно кто-то сказал снегу, что другие цвета не в счет. Мне кажется, будь это какой-нибудь приятный цвет — типа лилового, или розового, или даже радужного, — тогда было бы интересно смотреть. Снег сгребают и отбрасывают в стороны, где он собирается в грязные кучи.

А еще в снегу играют дети. Они трогают его, пинают, бросаются друг в друга — просто играют с ним, будто он затем и существует. Даже сделали нечто похожее на круглого человека, надели на него шапку, повязали красную тряпку на шею, в лицо вставили морковку. Может, это американский токолоши, и, когда настанет ночь, он станет ходить и творить зло. Не знаю, что я буду делать, ведь я теперь не могу сражаться со злом, поскольку мое оружие выбросили в аэропорту.

В гостиной Принц полирует своих деревянных животных; он привез их из дома и играет с ними, как маленький. Животные выстроены на столе: лев, слон, носорог, жираф. Принц с ними разговаривает, словно они могут услышать и что-то ответить. Он говорит льву: Силуанэ, бубеси,

нкунзи[35]!

Затем берет его, прислоняет к щеке и рычит за него, и умерший в его глазах свет почти возвращается. После берет слона и говорит: Ндлову, нтаба, умкулу[36]! А потом прислоняет к другой щеке и трубит за него. Я ему говорю: Хорошо, что они деревянные, им не нужно выходить на улицу и умирать в этом снегу. Но Принц, похоже, меня не слышит. Он сталкивает лбами слона и льва, скалится, точно пес, рычит и спрашивает их: Кто теперь главный в джунглях, кто главный? Дядя Коджо говорит ему: А тебе разве не надо подыскивать колледж, Принц? Ты теперь в Америке и можешь стать кем захочешь, посмотри на Обаму. Тетя Фосталина глядит на дядю Коджо так, словно хочет зарезать глазами, и говорит: Уэна силима[37], не видишь разве, он переваривает все, что случилось с ним?

Снег какое-то время не шел, а тот, что на земле, вроде как подтаивает. Он стал гораздо тоньше, кое-где видны лужицы. Кроме того, он падает с

---

[35] Примечания: 35
Silwane, bhubesi, nkunzi — зверь, лев, бык (*коса*).

[36] Примечания: 36
Ndlovu, ntaba, umkhulu — слон, гора, старик (*коса*).

[37] Примечания: 37
Wena silima — ты просто идиот (*зулу*).

ветвей, и из-под него уже выглядывают крыши и дорога. Может, снег решил уйти, вернуться туда, откуда появился, потому что знает, что я за ним слежу. Мне пока не хочется выходить, и я качаю головой, когда тетя Фосталина предлагает пройтись с ней по разным местам. Она оставляет меня в покое, не принуждает и не бьет, как наверняка побили бы мама или Мать Костей, если бы я не стала делать, что они говорят. Она все время меня спрашивает, хочу ли я что-то: Не хочешь ли макароны с сыром? Не хочешь ли пойти спать? Ты больше хочешь это или то? Ты уверена? Словно я стала реальной личностью.

Принц все чаще и чаще говорит сам с собой, будто люди из его головы реально вышли наружу и он их видит. Иногда он визжит, кричит и брыкается, словно кто-то пытается сделать с ним что-то. Тетя Фосталина трясет Принца, чтобы он прекратил, но у нее недостаточно сил. Он сучит своими обожженными руками и громко зовет на помощь. Когда же прекращает, тетя Фосталина обвивает его своими тонкими руками, как младенца. Он затихает, и она баюкает, баюкает его. А если он снова начинает говорить, то она поет ему колыбельную, и он ей подпевает, хотя поет другую песню, молотя кулаками по своей голове,

словно хочет разбить ее до крови:

Собаший абафоуэту
Савука сауэла куамани амазвэ
Лаф окунгази хон убаба ломама
Сландэл инкулулеко…[38]

Когда снег сойдет, можно будет выйти и посмотреть, каков из себя этот Детройт, увидеть траву, цветы, листву, птиц и мусор. Может, я увижу что-то знакомое, и тогда это место наконец покажется мне привычным. Я выйду и понюхаю воздух, возможно, поймаю кузнечиков и выясню, что за странные плоды растут на всех этих больших деревьях. Нарисую на земле игру в страны или даже в арру, которую нам показал Борнфри. Он сказал, что они с друзьями играли в нее в детстве, когда страна еще была страной.

Стина сказал, что страна — это как бутылка кока-колы: если она разобьется об пол, то станет грустно. Когда бутылка разбивается, обратно ее не соберешь. Однажды, когда мы сидели в кустах после того, как наелись гуав, нас увидел Мукома Чарли и сказал: Вы самые невезучие дети, каких

[38] Примечания: 38

Мы оставили наших братьев / Мы проснулись и перешли в другие миры / Вот чего вы не знаете о моей матери / Следуйте за свободой (*коса*).

повидала эта разбитая бутылка. Когда это была страна, вы все сидели в школе и учили серьезные вещи, чтобы вырасти и стать кем-то, а теперь сидите тут, в кустах, и какаете гуавовыми косточками.

Еще Стина сказал, что оставить свою страну — это как умереть, и когда ты возвращаешься, то похож на призрака, который скитается по земле с отсутствующим взглядом. Я не хочу быть такой же, но я ведь даже не знаю, будет ли еще существовать Парадайз, когда я вернусь. Будет ли там Мать Костей, когда я вернусь? Будут ли Бастард, Гадноуз, Сбо, Стина и Чипо и все мои друзья, когда я вернусь? Будут ли на месте гуавовые деревья, когда я вернусь? Будет ли в Парадайзе все по-прежнему, когда я вернусь?

Единственнейший раз, когда здесь бывает почти интересно, — это когда к тете Фосталине приезжают дядя Темба, дядя Чарли, тетя Уэлкам, тетя Ченаи и остальные. Я их называю дядями и тетями, но они не кровная родня мне, как тетя Фосталина; дома я никого из них не знала, а дядя Чарли вообще белый. Думаю, они теперь моя родня потому, что тоже приехали из моей страны, — словно наша страна стала нам настоящей семьей, когда мы попали в чужую Америку.

Всякий раз, как они приезжают, дядя Коджо уходит из дома почти на все время, потому что все будут говорить на нашем реальном языке, смеяться и вспоминать, как было дома, как они росли еще до того, как все стало плохо, а потом ужасно. Они вечно забывают о том, что дядя Коджо их не понимает, а он сидит с потерянным видом, будто оказался нелегалом в чужой стране — но в своем же доме.

Дяди и тети приносят козьи внутренности и готовят эзангафакати, садзу и мбиду, а иногда приносят амакимби, которые я просто обожаю, умфушву[39] и другую домашнюю еду, и все набрасываются на нее, точно сто лет не ели. Отрывают пальцами стуалу, спешно скатывают, макают в маринад и быстро переглядываются, прежде чем засунуть в рот. Затем тщательно жуют, склонив головы набок, словно еда говорит им что-то и они вслушиваются во вкус; лица их расцветают. Когда готовят домашнюю еду, даже тетя Фосталина

[39] Примечания: 39

Эзангафакати (*зулу* ezangaphakathi) — потроха; садза (*шона* sadza) — самое распространенное блюдо в Зимбабве, основа рациона, готовится путем отваривания муки (сорго, пшенной или кукурузной) до полного испарения воды, подается с мясом, соусом, овощами, супами; амакимби (*зулу* amacimbi) — жареные мопановые гусеницы, которые готовятся с белым луком, томатом и различными специями; умфушва (*шона* umfushwa) — сушеные листья бобов, которые отваривают перед подачей.

забывает о своей фруктовой диете.

После еды начинается музыка. Они играют Маджайвану, играют Соломона Скузу, играют Ндакса Малакса, Мириам Макебу, Лаки Дюбу, Бренду Фасси, Пола Матавира, Хью Масекелу, Томаса Мапфумо, Оливера Мтукудзи — старые песни, которые я помню с самого детства, когда их пели мама с отцом и другими взрослыми. Некоторые песни я не знаю — дядя Чарли говорит, что тогда я еще не родилась. Когда же они танцуют, я всегда стою у двери и смотрю, потому что это что-то с чем-то.

Танцуют они чудно. Руки-ноги трясутся, тела извиваются. Они наклоняются, словно сеют зерно, опускаются на пол, поднимаются, как плети, и стегают воздух. Сбиваются вместе, как домашний скот, а затем разлетаются, как сломанные кости. Подбираются, смотрят вверх, прикрывают лица от солнца и манят дождь руками. Дождь не идет, и они с досадой качают головами и вновь опускаются — ниже, ниже и ниже, подобно тонущим кораблям. После поднимаются, хватаются за животы и сердца, как женщины в момент страданий, воздевают молитвенно руки, скрючиваются, будто хоронят себя. Встают рывком и стоят на цыпочках, вытягивая руки — точно самолеты,

летящие в дальние страны.

Свадьба

Неприятности начинаются, когда мы пропускаем поворот по дороге на свадьбу Думи в Саут-Бенде, в Индиане, и сбиваемся с пути. Правда, мы не сразу понимаем, что сбились; тетя Фосталина дремлет на переднем сиденье, потому что работала всю ночь, а Ти-Кей, который сидит рядом со мной, как обычно, занят своим айподом, и уши его закрыты громкими наушниками. Я сижу за дядей Коджо, он ведет машину, кивая под эту странную ганскую музыку, от которой иногда забывается, словно что-то зовет его в какие-то дали.

Мы давно оставили позади дома и магазины и теперь едем среди бесконечных кукурузных полей, и мне кажется, что сейчас я увижу согнувшихся людей с мотыгами; мальчишек, ведущих за собой волов с плугами, услышу их посвисты и щелчки кнутов, разносящиеся в воздухе, удары мотыг по земле, голоса женщин, подбадривающих друг друга песней. Всегда бывают такие моменты, когда чудится, что знакомые вещи из дома вот-вот возникнут ниоткуда, будто при-

зраки.

Каким бы зеленым ни выглядел маис в Америке, он ненастоящий. Его здесь называют кукурузой, и это совсем не то — початки маленькие, сладкие и слишком мягкие. Я больше их даже не пробую, потому что это реальный облом, и жевать такое — типа оскорблять свои зубы. Я смотрю, как бесконечно тянутся эти поля, и это начинает меня раздражать, потому что я не могу представить, что находится за ними. Возможно, там густые леса со львами, тиграми и мартышками, качающимися на ветвях, и всем прочим, — никогда не угадаешь, чего ждать.

Хм, может, нам включить навигатор, дядя Коджо, говорю я, наклоняясь вперед, к самому его уху. Знаю, он не любит, когда ему говорят, что делать, но все же. Я не удивляюсь тому, что он продолжает кивать под свою музыку, будто не слышал меня. Перед этим, когда мы съехали с хайвея, дядя Коджо стал чихвостить навигатор на своем языке, так как тот повторял: Маршрут перестроен, поверните направо, поверните направо, маршрут перестроен, — хотя мы находились на прямом участке и поворачивать направо было некуда. В итоге дядя Коджо просто сорвал навигатор с подставки, протянул мне через плечо,

сделал радио погромче и принялся слушать свою музыку.

Устав смотреть на бесконечные поля и затылок дяди Коджо, я выуживаю из сумочки косметичку «Хэллоу Китти», вынимаю зеркальце и блеск для губ. Сегодня мое лицо мне даже, типа, нравится, хотя выглядит странно: тетя Фосталина сделала мне макияж для свадьбы, поскольку, по ее словам, я теперь подросток. Если бы я увидела себя со стороны с таким лицом, я бы, может, не сказала, кто это, потому что сразу не узнала бы, но в то же время смотрится интересно, и я довольна. Жаль только, что сейчас лето и школы закрыты, — не получится реально покрасоваться, но я решила, что осенью именно с таким лицом пойду в Вашингтонскую академию.

Когда я только прибыла в Вашингтон, мне просто сдохнуть хотелось. Другие ребята дразнили меня из-за имени, акцента, волос, из-за того, что и как я говорила, как одевалась, как смеялась. Когда тебя дразнят, ты сперва пытаешься все исправить, чтобы больше не дразнили, но эти чокнутые дразнили меня из-за всего, даже того, что я не могла изменить, и это продолжалось и продолжалось, и в итоге у меня просто появилось ощущение, будто что-то не так с моей кожей,

моим телом, моей одеждой, моим языком, моей головой — со всем. Когда я поделилась этим с тетей Фосталиной, она рассказала мне, как училась дома в интернате и самые злостные задиры отжимали у других еду и вообще заставляли прислуживать — стирать их одежду, убираться за ними и все такое. У нее такой бзик — постоянно ссылаться на то, как было дома, если ей не хочется с чем-то разбираться: когда я росла дома, мы получали новую одежду только на Рождество и прекрасно себя чувствовали; дома вы ни за что не стали бы разговаривать со старшими в таком тоне; дома то, дома се.

Меня перестали дразнить, когда в классе появился Том; не знаю, откуда он пришел, но у него были кривые зубы, длинные сальные волосы, большие очки, и еще он кошмарно заикался. В общем, с меня переключились на него, и мне почти хотелось поблагодарить его за это. Помню, его дразнили жестче, чем меня, — может, потому, что он был мальчиком. На него всегда наезжали, провоцируя драку, и называли фриком — я даже загуглила это слово, потому что никогда раньше не слышала; я тогда не знала многих американских слов и вещей.

Именно то, как они произносили слово «фрик»,

и побудило меня поискать, что это значит: на звуке «ф» они готовы были прокусить себе нижнюю губу, а «рик» взрывался у них во рту. Помню, я ждала, когда останусь одна в комнате, чтобы загуглить. Я нашла значение, потом кликнула на изображения и, когда повыскакивали все эти безумные картинки, просто уставилась на экран и задумалась, что должен был чувствовать Том; но поняла я это — все мы поняли — через неделю, когда он повесился в раздевалке, а на шкафчике за ним было выведено красным маркером: «фрик!».

Вам надо высматривать павильон, он должен быть где-то здесь, говорит дядя Коджо.

Здесь? В полях? говорю я и тут же прикусываю язык, потому что получается, как будто дядя Коджо ляпнул полную хрень и я поверить не могу. Он не отвечает, так что я заканчиваю наносить блеск и сжимаю губы, как делает тетя Фосталина. Затем убираю блеск для губ и зеркальце и засовываю сумочку под сиденье дяди Коджо, где лежит навигатор. Туфли мне жмут, и я их сбрасываю.

Понимаешь, в твоем возрасте лучше забыть про макияж и думать, вообще-то, о школе. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь, о таких вещах, говорит дядя Коджо. Когда он убавляет звук ра-

дио, я закатываю глаза, так как знаю, что будет дальше.

Знаешь, сколько молодых женщин хотят, вообще-то, приехать в эту страну учиться? Сколько из них просто… просто до смерти хотят быть на твоем месте?

Дядя Коджо весь такой недовольный, и это меня очень раздражает, ведь я не сделала ничего плохого. И потом, у меня по всем предметам одни пятерки, даже по математике и естествознанию, которые я ненавижу, потому что в Америке школа легче легкого, осел и то осилил бы; непонятно, чего от меня хочет дядя Коджо, что еще я должна сделать. Он смотрит на меня в зеркальце заднего вида с такой досадой в глазах, какой я явно не заслуживаю, и я, переняв манеру Ти-Кея, говорю про себя: Отвали, мазафака.

Думаю, как раз в тот момент, когда дядя Коджо смотрит на меня этим взглядом, перед машиной выскакивает олень. Следующее, что я помню, — это звук удара, машина делает вираж, и нас мотает по всему салону. Гудит другая машина, которая несется на нас, дядя Коджо кричит на своем языке, тетя Фосталина проснулась и кричит на нашем языке, Ти-Кей говорит: Какого хуя? А я просто ору. Когда дядя Коджо возвращает машину

на нашу полосу и бьет по тормозам, олень уже ковыляет в кусты, прихрамывая, с большим кровавым пятном на боку. Я сочувствую оленю, но рада, что дядя Коджо наконец отвязался от меня.

Ты чего творишь, Джеймсон, хочешь убить нас? говорит тетя Фосталина. В ее голосе сон, шок и паника. Дядя Коджо ее игнорирует и выходит из машины, что-то бормоча. Он просто стоит, засунув руки в карманы, и качает головой. Затем наклоняется, рассматривая правый бок машины.

Господи, уже три тридцать пять, мы опаздываем на свадьбу! Как это случилось? говорит тетя Фосталина снова с паникой в голосе, словно это даже серьезнее, чем авария, в которую мы чуть не попали.

Где мы? спрашивает она, поворачиваясь назад, к нам с Ти-Кеем, но мы молчим в ответ.

Мы должны были быть на свадьбе полтора часа назад, полтора часа! Где мой навигатор? Что он с ним сделал? говорит она, и я быстро достаю навигатор из-под сиденья дяди Коджо и отдаю ей. Тетя Фосталина ставит его на место; она уже здорово завелась, звонит кому-то и спрашивает, куда ехать. Дядя Коджо возвращается в машину и говорит: Этот олень, вообще-то, разбил мне фару. Теперь надо новую ставить. А я только на той

неделе починил выхлоп!

После того как дядя Коджо разворачивает машину и мы направляемся обратно к девяносто четвертому, Ти-Кей говорит: О черт, за нами полиция; может, кто-то заметил.

Полиция? Серьезно, полиция? говорит дядя Коджо таким тонким дрожащим голосом, что можно подумать, будто это не дядя Коджо, а перепуганный подросток. Слово «полиция» он говорит так, точно это злые колдуны или монстры.

Просто не оборачивайся, ты же знаешь, как они этого не любят, говорит Ти-Кей. Машина начинает замедляться, съезжая с дороги к правому краю, и останавливается. Дядя Коджо что-то бормочет; похоже, молитву. Я оглядываюсь, не вижу никакой полиции и хихикаю, прикусив кулак. Ти-Кей рядом подыхает. Услышав нас, дядя Коджо оборачивается через плечо и кричит на Ти-Кея на своем языке — громко и сердито, в своей манере. Он не видит в этом ничего смешного.

Прибыв, наконец, на свадьбу, мы прикидываем, что самые важные части уже позади, и это ничуть меня не смущает, так как я почти не знаю Думи, жениха. Но тетя Фосталина знает, и я вижу, что она не в себе, ведь она несколько недель говорила об этой свадьбе как о своей собственной. Она

выходит из машины, хлопнув дверью, и спешит ко всем, забыв о нас.

Недели три назад я пошла с тетей Фосталиной в «Джей-Си-Пенни», чтобы купить ей наряд для этой свадьбы. Мы несколько часов примеряли платье за платьем, и я уже подумывала убежать из «Джей-Си-Пенни», но наконец она нашла, какое хотела, — длинное, кремовое, облегающее, без бретелек. Молния никак не застегивалась, но она все равно его купила, решив, что сбросит несколько фунтов. Сегодня утром, когда она пришла ко мне в комнату и попросила застегнуть молнию, я застегнула ее без проблем, словно тетя Фосталина просто выдохнула весь лишний вес.

Вы чудесно выглядите, тетя Фосталина, сказала я, потому что она реально была красавицей, и к тому же ей нравится, когда говорят об этом.

Правда, ты так думаешь? спросила она, повертевшись, а потом замерев перед зеркалом. Ее лицо в отражении казалось чуть уставшим.

Никому не говори: мы с женихом когда-то встречались, но это было еще дома, во время учебы в колледже. Мы расстались, когда он переехал в Штаты, так что все уже в прошлом. Я просто хочу посмотреть, на ком он женится, вот и все, сказала тетя Фосталина с озорной ухмылкой,

какой я никогда у нее не видела, и я не разобралась, обращается она ко мне, к себе или к своему отражению.

Первое, что я замечаю, когда мы входим в павильон, — это множество белых людей. Я знаю, что из всех американцев реально любят африканцев именно белые, но все же, осматривая эту толпу на свадьбе, невольно думаю: не может быть, что это лишь из-за любви. И только при виде невесты я понимаю, почему здесь столько белых: она белая. А кроме того, она просто гора плоти; я пялюсь на нее и мысленно ахаю: Она не просто толстая.

Толстые в Америке — совсем не то же самое, что толстые у меня дома. Там толстый человек — скорее крупный, то есть такой, по которому понятно, что он хорошо питается, такому толстому даже можно позавидовать. Тело у него остается телом: шея — шеей, живот — животом, рука — рукой, попа — попой. Но в Америке толстые — это что-то невозможное; их тела будто трансформируются: шея становится ляжкой, живот — муравейником, рука — мешком, а попа — даже не знаю чем.

Высокий муж в белом костюме, Думи, сидит рядом со своей половинкой. Улыбка на его лице словно приклеенная; тонированные дреды достают до плеч, и рядом с такой женой его тело

кажется палкой. Я смотрю на его приклеенную улыбку и пытаюсь понять, чему он улыбается, — не знаю, чему можно улыбаться, если нельзя сказать: Смотрите, какая жена у меня красавица. И другие женщины не станут завидовать ей или ненавидеть ее, не захотят убить за такую красоту. Я перевожу взгляд на тетю Фосталину и вижу, что она буквально светится, глядя на молодоженов, — она рада, что Думи женился на толстой уродине.

Мы сидим и слушаем сообщения из дома. Ведущий объясняет, что родители и родные Думи не приехали на свадьбу, потому что не смогли получить визы, однако они написали сообщения и отправили по имейлу. Один из друзей Думи, которого зовут Мта, читает эти послания, а другой, Сиза, переводит белым людям.

Первое сообщение от бабушки Думи, которая вначале обращается к Думи с его тотемами, как любят делать старые люди. Звучат эти тотемы подобно шальной поэме, и слушать их на нашем языке — одно удовольствие. Бабушка поздравляет своего первого внука и надеется, что он выбрал здоровую, приятную, уважаемую и основательную жену, которая выносит ему сильных сыновей, приобщит их к нашей прекрасной куль-

туре и приедет домой, чтобы возродить семейное гнездо, как положено первой невестке. Жену, которая знает свое место, будет слушаться мужа и сделает его мужчиной среди мужчин. Жену быстроногую, рукодельную, работящую, чистую и верную.

Невеста слушает и кивает, словно понимает наш язык, но мне уже известно, что у белых людей в порядке вещей улыбаться чему угодно, поэтому я не удивляюсь. Однако замечаю, что переводчик опускает слова насчет возрождения семейного гнезда, приобщения внуков к нашей прекрасной культуре, а также насчет быстроногой, работящей и послушной мужу. Когда пожелания начинают звучать одно за другим, как библейские стихи, я встаю и отправляюсь на поиски туалета.

Спокойно писая, я вдруг слышу два женских голоса, говорящих на нашем языке. Говорят они тихо и сдержанно, как и положено, когда сплетничаешь, но разобрать можно. Я прекращаю писать и прислушиваюсь.

Ну и нахалка! Думаю, это сестра ее. Разглагольствовать об африканских мужчинах и об их любви к большим женщинам! Я серьезно чуть не рассмеялась.

Ну, это ты, а я чуть не залепила этой тупой шлюхе. Типа, что ты, сука, знаешь, блядь, об Африке? И с каких таких пор большие — это толстые?

Милая, она даже не толстая.

Чертовски верно. Ожирение — вот как это называется. Она же, блядь, ходячая гора!

И они смеются. Я хихикаю, и из меня вытекают две капли, так что я перестаю хихикать и фокусируюсь на том, чтобы удержать в себе остальное.

Скажу только, что он храбрый человек. А если это не храбрость, то не знаю что. Глупость?

Эх, какая досада, такой брат пропадает.

Да уж, сестра, на что только люди не пойдут *ради бумажек*, точно тебе говорю.

Я с удивлением отмечаю неожиданное сочувствие во втором голосе и сразу представляю говорящую: это не девушка, как можно было подумать, а старая-старая женщина с добрым лицом, возможно сокрушенно качающая седой головой. Льется вода из крана и прекращается. Затем раздается стук каблучков, и после: Окей, заканчивай. Кто-то идет.

Ага, лучше нам вернуться, я жрать хочу, как эта жирная невеста.

Снова стучат каблучки, сплетницы, вероятно, уходят; до меня доносится «привет», и первый

голос произносит уже по-английски радостным и насквозь фальшивым тоном: Какое шикарное на тебе платье! Я заканчиваю писать, подтираюсь, и вода в унитазе сама спускается.

Когда я мою руки и любуюсь своим интересным лицом, вдруг слышу вопрос: Ты тоже из Африки?

Я смотрю в зеркало — там стоит женщина в синем платье и улыбается мне. Я отмечаю, что ее сладкий парфюм витает вокруг, словно он — нечто живое. Я улыбаюсь в ответ. Не прям улыбаюсь-улыбаюсь, а слегка обнажаю зубы. Так принято в Америке: улыбаться тем, кого не знаешь, и даже тем, кто тебе не нравится, просто улыбаться по любому поводу. Я киваю, отворачиваюсь от зеркала и начинаю сушить руки под шумной сушилкой. Когда снова оборачиваюсь, эта женщина все еще стоит там, словно мы дома, на Главной улице, и она, типа, хочет продать мне дешевые яйца.

Можешь что-нибудь сказать на своем языке? говорит она. Я издаю короткий смешок — а как еще на это реагировать? Но женщина не сводит с меня выжидающего взгляда, и мне ясно, что она не шутит, поэтому я говорю:

Не знаю, что вы хотите, чтобы я сказала?

Ну, что угодно, правда.

Я мысленно вздыхаю, потому что это ужасно глупо, но не забываю держать улыбку. И произношу одно слово — са-ли-бона-ни[40], но медленно, чтобы она не попросила повторить. Она не просит.

Разве не прекрасно? говорит она. И смотрит на меня как на чудо, словно я совершила что-то волшебное. Какой это язык? спрашивает она.

Я отвечаю, и она снова говорит, что это прекрасно, и я говорю ей спасибо. Затем она спрашивает, из какой я страны, и я говорю ей.

Там прекрасно, правда? говорит она. Я киваю, хотя и не знаю, чему тут кивать. Просто киваю. Для этой леди, наверное, все прекрасно.

Африка прекрасна, говорит она, подтверждая мою догадку. Но разве не ужасно то, что творится в Конго? Просто ужас.

Теперь она смотрит на меня с болью на лице. Я не представляю, как реагировать и что сказать, поэтому принимаюсь кашлять, лишь бы не молчать. Мой мозг мечется и скачет через заборы, пытаясь вспомнить, что именно творится в Конго; правда, мне кажется, что я путаю его с другим местом, но по глазам женщины вижу: это

---

[40] Примечания: 40
Salibonani — увидимся (*зулу*).

настолько серьезно и важно, что я должна знать, и в итоге говорю: Да, это ужасно, что творится в Конго.

Я выдавливаю жидкое мыло на ладонь и начинаю мыть руки по новой, спиной к женщине. Но она и не думает уходить. Она пододвигает стул, стоявший у двери, и усаживается; вообще не понимаю, зачем нужны стулья в туалете.

Не то слово. Господи, все эти изнасилования и убийства! Как такое вообще возможно? говорит она. Я пытаюсь понять, это вопрос-вопрос или вопрос, на который не нужно отвечать, но в итоге говорю: Да, я сама реально не понимаю. И принимаюсь сушить руки.

То есть у меня даже… даже в голове не укладывается. Все эти бедные женщины и дети. Я смотрела Си-эн-эн вчера вечером, и там была эта маленькая девочка, ну просто… просто такая лапочка, говорит она. Глаза у нее затуманиваются, и она опускает взгляд. Я смотрю на коробку с салфетками «Клинекс», лежащую на краю стойки, и раздумываю, не должна ли взять ее и протянуть ей.

Это просто разбило мне сердце, знаешь, говорит женщина сдавленным голосом. Затем поднимает голову, словно вспомнила что-то важное. Так

вот, Лиза, племянница моя, — которая одна из подружек невесты, высокая такая, рыжая, совсем тощая, — она собирается в Руанду помогать. Она состоит в Корпусе мира, знаешь, они большое дело делают для Африки, просто молодцы, говорит она. Я киваю, хотя вообще не особо хорошо представляю, о чем говорит эта женщина. Но, судя по ее лицу, ей существенно полегчало, словно давняя боль отпустила ее.

А прошлым летом она ездила в Кайличу[41], это в Южной Африке, учила детей в приюте, и хочу тебе сказать, мы все делали пожертвования — отправляли одежду, ручки, лекарства, цветные карандаши и конфеты бедным африканским деткам. Она прикладывает руку к сердцу и закрывает глаза на секунду, как бы прислушиваясь к своей доброте. Я удивляюсь, насколько хорошо она говорит «Кайлича» — словно на своем родном языке.

И, оу, она такие классные фотки наснимала. Видела бы ты эти лица! говорит она, а я смотрю на ее улыбающееся лицо, чуть запрокинутое к яркому свету, и представляю, какими должны быть

---

[41] Примечания: 41

Кайлича (коса Khayelitsha — Новый дом) — поселок в пригороде Кейптауна, один из крупнейших и быстрорастущих поселков Южной Африки.

лица тех детей. В ее улыбке я вижу их улыбки. А затем вижу и себя в лице этой женщины, когда я была в Парадайзе и люди из НПО снимали нас.

Просто прелесть, знаешь, говорит она. Теперь мы смотрим друг на друга и улыбаемся еще шире, будто реально задружились в этой дамской комнате с кремовой плиткой, ярким-ярким светом и оранжевым стулом.

Оу, и вот еще послушай: когда она была там, то поехала и сфотографировала Столовую гору[42] и остров Роббен[43]. Бог. Ты. Мой. Столовая гора така-а-ая поразительная. Красоты нереальной. Говорю тебе, я посмотрела эти фотки и сказала себе, что просто обязана побывать там. Ничего подобного не видела. Может, в следующем году поедем с Кристофером на годовщину свадьбы. Упс, не зря я вспомнила, пора мне тащить наверх свою задницу, говорит она, встает и идет к двери, открывает и исчезает — словно ее здесь и не было.

---

[42] Примечания: 42

Столовая гора (*англ.* Table Mountain) — гора в ЮАР, на южном берегу бухты Тэйбл-Бэй, поднимающаяся на 1085 метров над уровнем моря. Официально признана одним из семи новых чудес природы.

[43] Примечания: 43

Остров Роббен (*англ.* Robben Island) — расположен в бухте Столовая (Кейптаун, Южная Африка), использовался южноафриканским правительством как тюрьма для политических заключенных, в том числе Нельсона Манделы.

Когда я возвращаюсь наверх, люди, образовав круг, слушают, как Чака Зулу поет туземную песню. И хотя он весь в морщинах от старости, выглядит он прекрасно и свирепо в юбке из разноцветных шкурок длиной до колен. На шее у него — ожерелье из заостренных косточек, в ушах болтаются кольца. На голове — меховая шапка. На тонких руках — одинаковые повязки. В одной руке он держит длинный белый щит, усеянный мелкими черными крапинками.

Я стою рядом с Ти-Кеем, который снимает выступление на свой BlackBerry[44], может, чтобы выложить потом на Facebook[45]. Другие гости вокруг нас тоже снимают — и телефонами, и камерами. Голос Чаки Зулу, сильный и раскатистый, напоминает мне Профета Ревелэйшнза Битчингтона Мборро; он будто поет кому-то потерявшемуся на большой дороге, хотя невеста сидит прямо перед ним и улыбается так, словно ничего прекраснее не слышала. Когда песня заканчивается, все аплодируют, и Чака Зулу светится от гордости. Он всегда выступает на свадьбах и на

[44] Примечания: 44

BlackBerry — канадская марка смартфонов.

[45] Примечания: 45

Социальная сеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. *Прим. ред.*

любых мероприятиях, которые проводят наши, и вы, глядя на него, ни за что не подумали бы, что с ним что-то не так, что он пациент психиатрической клиники «Шейдибрук».

Я голодная, но не ем много, когда все садятся за стол, потому что даже после стольких лет не научилась толком есть вилкой и ножом. Я всегда разбрасываю еду во все стороны, мясо скользит по тарелке, когда я режу его, и мне кажется, что люди смотрят на меня с насмешкой. Поэтому я такая напряженная, когда ем на людях; чаще всего я просто притворяюсь, что не голодная, — как сейчас. Но я учусь; единственное, почему до сих пор не научилась, — потому что дома я ем просто руками, как и положено.

Тетя Фосталина сидит рядом со мной и ест салат, а дядя Коджо и Ти-Кей навалили на свои тарелки так много, словно всю жизнь голодали. Дядя Коджо пересел за соседний столик, к человеку из его страны. Они с дядей Коджо не очень похожи, но их свободные цветные одежды с вышивкой почти неотличимы, и на них, сидящих вот так вместе, интересно смотреть. Какой-то парень даже подошел к их столику и попросил сфотографироваться. Я смотрю на дядю Коджо; всякий раз, встречая кого-то из своей страны, он

полностью становится другим — меняются его смех, его речь, то, как он ест, — он вроде как раскрывается, и я вижу другого человека, которого совсем не знаю.

Потом к нашему столику подходит Думи; он держит на руках симпатичного мальчика с вьющимися волосами. Я улыбаюсь мальчику реальной улыбкой, но тот в ответ просто глазеет. Он сжимает белый мяч с резиновыми шипами. Думи высокий и, похоже, ходит в спортзал; он не красавец, но выглядит получше дяди Коджо. Только зря он носит эти дреды, они ему не идут.

Я вспоминаю слова тети Фосталины о том, что они встречались, и наблюдаю — вдруг случится что-то интересное в их беседе. Я слушаю, как они обсуждают обычные вещи — кто кого видел в последнее время, кто кем теперь работает — и то, как обстоят дела дома, и нашего старого президента, который не хочет умирать, чтобы мы наконец получили нового лидера. Глубокий голос Думи немного хрипловат, словно его хозяин шел пешком в Америку и совершенно измучился.

Думи не говорит тете Фосталине, как другие, что она хорошо выглядит; он говорит, она словно солнце на рассвете. Ты подобна солнцу на рассвете, Фе, — вот как сказал Думи на нашем языке. Я

никогда еще не слышала, чтобы кто-то называл тетю Фосталину Фе. Она улыбается, и я пялюсь на нее во все глаза — из-за этой ее улыбки. Она будто слышит музыку и танцует внутри себя.

Они замолкают на какое-то время, словно у них кончились слова, словно нужных слов нет ни в нашем, ни в английском языке. Это молчание начинает меня смущать, и в итоге, не зная, что делать, я беру вилку правой рукой, нож — левой и принимаюсь за еду. Я отрезаю кусок мяса. Он не пляшет по всей тарелке, поэтому я приободряюсь и отрезаю еще и еще, надеясь убить время. Молчание не прекращается; кажется, они общаются таким образом. В другом конце зала невеста сидит как сидела; она разговаривает с подружкой невесты и высоким мужчиной в желтом костюме.

Дядя Коджо смотрит на наш столик. В руке у него куриная ножка, и при виде жениха он кивает и поднимает ее, типа это бокал. Думи кивает ему. Мальчик на его руках начинает жевать резиновые шипы на мяче.

Привет, красавчик, как тебя зовут? спрашивает тетя Фосталина мальчика, нарушая долгое молчание. Мальчик хихикает и закрывает рукой глаза.

Он стесняется. Его зовут Мандла[46], говорит Думи. Я удивляюсь, как это американского мальчика назвали Мандлой, но это не мое дело, и ко мне никто не обращался, поэтому не вмешиваюсь. Я сосредоточиваюсь на своем мясе; мясо вкусное, и я ем кусочек за кусочком.

О, ясно, говорит тетя Фосталина. Красивое имя.

Это сын Стефани, поясняет Думи, словно прочтя мои мысли. Он смотрит в сторону свадебного стола, на свою жену. Но я дал ему имя отца, продолжает Думи; он целует Мандлу в нос, ерошит ему волосы. Мне интересно, какие на ощупь волосы белых; я еще ничьи не трогала, поскольку до сих пор не подружилась ни с кем из белых — по крайней мере, так близко. Они, наверное, шелковистые, как маисовые метелки.

Но Мандле не нравится, что ему ерошат волосы, он трясет головой и произносит тонким голоском: Перестань! Я удивляюсь, что он разговаривает, потому что это первое, что он сказал за все время. Он извивается в руках Думи, как угорь, пытаясь высвободиться. Но, едва встав на ноги, бросает мяч в тарелку тети Фосталины и смеется. Я замираю с ножом в воздухе. Тетя Фосталина ничего не

---

[46] Примечания: 46

Мандла (*зулу* Mandla) — имя, распространенное в ЮАР, означает «сила», «власть», «авторитет».

говорит, однако я вижу, что она не рада.

Нет, Мандла, стой, не надо так, говорит Думи. Он извиняется перед тетей Фосталиной, наклоняется, чтобы забрать мяч с ее тарелки, и дреды падают на его лицо. Мандла смотрит на него, жуя свои пальцы. Когда Думи заканчивает вытирать мяч бумажной салфеткой, Мандла тянет к нему ручки.

Не сейчас, сынок, я тебе говорил, нельзя бросать мяч. Мы потом поиграем, дома, окей? Дома, говорит Думи, сдерживая Мандлу серьезным родительским взглядом, но по Мандле видно, что он привык все делать по-своему.

Отдай мой мяч, говорит он со странной силой в голосе. Когда он куксится и начинает плакать, Думи смотрит на тетю Фосталину — как-то растерянно. Она пожимает плечами.

Окей, но не бросайся, окей? Здесь люди, говорит Думи.

Получив мяч, Мандла снова бросает его и попадает по груди старушке в розовом платье. У меня перехватывает дыхание, но старушка улыбается, словно все в порядке, берет мяч с колен и протягивает Мандле.

Разве не прелесть? говорит она Думи с бессмысленной старушечьей улыбкой, и Думи улыбается

в ответ. Мандла хватает мяч и подходит к нашему столику. Явно довольный собой. Когда он смотрит на меня, я гляжу на него с выражением, как бы говоря: Ты слишком расшалился, давай уже прекращай, пока ничего не случилось. Но понимаю по ухмылке Мандлы, что он ничего не понял, что его не научили читать по глазам.

Ну, теперь можешь отдать мяч мне, говорит Думи. Он наклоняется, чтобы быть вровень с Мандлой, складывает ладони чашечкой. Мандла пятится с мячом и мотает головой.

Хочешь, папа тебя поднимет? спрашивает Думи.

Нет! Ты не мой папа! кричит Мандла пронзительным голосом. Я вытираю рот салфеткой. Несколько человек поворачиваются в нашу сторону, но потом возвращаются к своим разговорам и еде. Мандла стоит и смотрит на Думи, словно подначивая. Думи лишь качает головой; по его лицу ясно, что он смущен и не очень понимает, что делать.

Переел сладостей, говорит он, как бы объясняясь, и мне хочется рассмеяться, потому что сладости — это одно, а избалованный ребенок — другое.

И тут Мандла бросает мяч в меня, а я не успе-

ваю среагировать, и резиновый шип бьет меня прямо в правый глаз. Боль просто запредельная. Я забываю, что нахожусь на свадьбе и здесь полно людей, забываю, что я в Америке. Прежде чем тетя Фосталина велит мне сидеть, я хватаю мелкого негодника и — хлоп-хлоп-хлоп — шлепаю его три раза по щекам и стучу по башке костяшками пальцев, два раза.

Только сев и оглядевшись, я понимаю, что наделала. Белые люди шумно втянули воздух и в шоке произнесли: Господи боже. Головы закачались, глаза вытаращились. Несколько рук взлетели к раскрытым ртам, и повисла тишина. Она висит в воздухе, как грязное облако, пока раскатистый голос Чаки Зулу не доносится от самой двери, где он сидит:

Не надо бояться. В нашей культуре мы именно так обращаемся с неслухами, это ничего, вы должны расслабиться, пожалуйста, говорит он со смешком. Но никто с ним не смеется; воздух заполняет раскаленная тишина. Если бы взгляды могли жечь, то от меня уже осталась бы кучка пепла на полу. Я понимаю, что совершила нечто недопустимое, нарушила табу. Я знаю, что никогда не забуду эти лица, как знаю и то, что никогда больше не ударю ребенка, как бы плохо он себя

ни вел.

Думи уносит Мандлу, и тот, понимая, что оказался в центре внимания, орет теперь так, словно ему заплатят за это. Мать глядит из-за свадебного стола, сдвигая гору плоти и вытягивая шею, пытаясь понять, что случилось с ее сыночком. Я рада, что она такая толстая, иначе она, возможно, вскочила бы и примчалась сюда. Я беру нож и смотрю в свою тарелку.

С ним все будет окей? кричит вслед Думи какой-то мальчик, и я хотела бы зыркнуть на него, но не смею повернуться. Я выдыхаю с облегчением, когда Думи уносит Мандлу за дверь, в сторону уборных. Крики его наконец стихают, и люди возвращаются к еде, но я чувствую, что они все еще не в себе. Старик, сидящий слева, сверлит меня таким суровым взглядом, будто я съела его пирожное. Дети, которые носились по залу, теперь присмирели и жмутся к своим матерям, словно увидели террористку.

Не делай так больше, я постоянно твержу тебе: ты теперь в Америке, говорит тетя Фосталина без раздражения в голосе, и мне становится легче. Если бы невеста была красавицей, то тетю Фосталину переклинило бы; а если бы ее переклинило, то мне досталось бы покрепче, чем Мандле, по-

крепче, чем несчастному оленю. Я киваю, кладу нож на тарелку и беру бокал кока-колы, которая даже не кажется реальной на вкус.

Ангел

В общем, я говорю тете Фосталине, что хочу съездить домой и погостить там какое-то время, посмотреть, как там мама, и Мать Костей, и разные люди, и прочее. Сперва в ответ — тишина, как будто тетя Фосталина даже не слышала меня. Мы сидим в гостиной, и я пью «Капри-сан» через соломинку. Тетя Фосталина, устроившись на диване, разглядывает фотографии женщин в красивом белье «Виктория'с сикрет». Вокруг нее — стопки журналов, а еще стопки перед ней, на кофейном столике, и под ногами на полу.

Я допиваю «Капри-сан», протягиваю руку к полке за своей спиной и беру гуаву. Я смотрю на нее так, словно никогда раньше гуаву не видела, и подношу к носу. Запах сражает меня наповал, у меня такое ощущение, будто мои сердце и внутренности бережно вскрыли. Я качаю головой, тру гуаву обеими ладонями, кусаю и смеюсь.

Посмотрим, как ты посмеешься, когда будет запор, говорит тетя Фосталина, перелистывая журнал. Я продолжаю жевать; разве она поймет, что каждый раз, кусая гуаву, я покидаю этот дом,

Каламазу[47] и Мичиган, покидаю всю эту страну и оказываюсь в своем Парадайзе, в Будапеште?

На прошлой неделе в Америку в поисках политического убежища приехал Мессенджер и привез мне посылку-сюрприз. Поскольку это было незадолго до дня моего рождения, я подождала открывать. Обертка у коробки была отстойная, и я хихикала, когда разрезала ножницами черную бечевку, снимала прозрачную пленку и несколько слоев листов из китайского журнала. Привозить из дома свежую еду и всякое такое не разрешается; если на границе найдут, то все выбросят, и я очень обрадовалась, что мои гуавы уцелели. Еще прежде, чем я все развернула, комнату наполнил гуавовый запах, чудесный и дурманящий. Я закрыла глаза и вдохнула так глубоко, как не вдыхала целую вечность.

Я давно не общалась с Бастардом, Стиной, Гадноузом, Чипо и Сбо, хотя, когда уезжала, обещала всегда быть на связи.

Я буду писать, там полно бумаги и ручек, так что буду писать постоянно, говорила я прямо перед тем, как мы с тетей Фосталиной сели в машину на Мзиликази.

---

[47] Примечания: 47

Каламазу (*англ.* Kalamazoo) — город в США, в юго-западной части штата Мичиган.

Обещаешь? сказала Чипо.

Да, обещаю, сказала я.

Поклянись сердцем, сказала Сбо.

Клянусь сердцем, чтоб я сдохла, сказала я.

А если не будешь писать? сказал Гадноуз.

Почему это не буду? сказала я.

Потому что найдешь красивых белых друзей и забудешь нас, сказал он.

Красивых белых друзей я найду, но это не значит, что забуду вас, сказала я.

С глаз долой — из сердца вон, сказал Стина.

Отстойная поговорка, ты же знаешь, я никогда вас не забуду, сказала я.

Посмотрим, сказал Бастард таким тоном, как будто знал что-то такое, чего не знала я. Когда машина тронулась с места, я поцеловала свою руку и помахала им, как однажды сделала леди из НПО, и крикнула при этом: Я буду писать — всегда, всегда, всегда!

Поначалу, в течение первых нескольких месяцев, я действительно писала. В тех письмах я рассказывала им об Америке, о том, какую еду я тут ем, какую одежду ношу, какую музыку слушаю, о знаменитостях и всяком таком. Но о чем-то старалась и помалкивать, например об ужасной погоде, потому что с ней почти всегда

что-то не так: то слишком жарко, то слишком холодно, то ураганы и всякое такое. И о том, что дом, в котором мы живем, вообще не похож на те, что мы в детстве видели по телику, что он не кирпичный, а дощатый, дощатый американский дом, и, когда идет дождь, эти доски плесневеют и пахнут.

Не писала я и о том, что иногда летними ночами в нашем квартале слышались выстрелы — бах-бах-бах, — и я не высовывалась за дверь, боялась выходить; и как однажды женщина через несколько домов от нашего утопила своих детей в ванной, всех четверых; и что тут есть бедные, которые живут на улицах и пишут на табличках просьбы о помощи. Я не писала об этом и о многом другом, потому что все это смущало меня, потому что показывало Америку не такой, какой была Моя Америка, о которой я всегда мечтала в Парадайзе.

Со временем я совсем перестала писать им. Я просто стала искать повод не писать, говорила себе, что напишу завтра, на следующей неделе, через пару недель, через месяц, как-нибудь потом, — и сама не заметила, как потеряла с ними связь. Но это не значит, что я забыла о них; я скучала по ним, очень скучала, и бывало, когда

я чем-то занималась, вдруг возникало ужасное чувство вины из-за того, что я им не пишу. Я скучала по Будапешту, по Фамбеки, по Парадайзу, по маме и Матери Костей, по Матери-Любви, по всем тем людям, даже по Профету Ревелэйшнзу Битчингтону Мборро, хотя он и чокнутый, скучала по всем им. И когда я получила гуавы, которые наша орава передала через Мессенджера столько лет спустя, мне было приятно узнать, что они тоже помнят обо мне.

Тетя Фосталина, говорю я, стараясь привлечь ее внимание, но она по-прежнему не отрывается от журнала. С некоторых пор журналы заменили ей гимнастику, на которую у тети Фосталины не остается сил после двух работ: в больнице и в санатории. Мне известно, почему она столько работает, — это чтобы поскорее расплатиться за дом, который она купила для мамы и Матери Костей в Будапеште. Я видела фотки: красивый большой дом с бассейном, прямо как те дома, где мы тырили гуавы. Даже красивей этого дома, в котором я живу в Америке, что кажется мне странным, ведь в Америке всё лучше — так рассказывали у нас.

Периодически тетя Фосталина поднимает взгляд от журнала к телику на женщину с кра-

сивым, но каким-то неестественным лицом, которая объясняет, как сбросить десять фунтов за десять дней, и призывает немедленно звонить ей и менять свою жизнь.

Я смотаюсь, может, на пару недель, а потом вернусь, говорю я, хотя тетя Фосталина все так же игнорирует меня.

Дарлинг, еще рано. Когда придет время, поедешь, говорит она наконец и перелистывает страницу.

Но ты как-то сказала, что, когда мне будет четыр…

Дитя, твой отец ведь не Обама, у которого есть свой борт номер один; самолет стоит денег. К тому же ты приехала по гостевой визе, и она истекла; уедешь — навсегда распрощаешься с этой Америкой, говорит тетя Фосталина.

Но почему я не могу вернуться? Я могу просто сделать новую визу, говорю я.

Дарлинг, оставь меня в покое, я что, по-твоему, *иммиграционная служба*? говорит она уже на нашем языке, и я понимаю, что разговор окончен. Когда тетя Фосталина вот так переходит с языка на язык, это значит, что тема закрыта, о чем бы речь ни шла.

Теперь телеэкран разделился надвое, и на нем

появились две фотографии одной женщины: до курса, когда она была покрупнее и выглядела как реальный человек, и после, когда она похудела и стала походить на прекрасную вещицу.

Подай мне телефон и сходи в мою комнату, принеси синюю сумочку; надо заказать этот пушап, говорит тетя Фосталина.

Наверху, в спальне тети Фосталины, я смотрю в окно на кладбище через дорогу. Первое, что бросается в глаза, — весь этот декор, как будто тебе пытаются сказать, что смерть, типа, прекрасна. У входа — большая бетонная штуковина с надписью на языке, которого я не знаю, а сверху на ней — скульптура лежащей женщины, свесившей голову набок. Одной рукой она закрывает лицо, словно говоря, что в жизни слишком много солнца, или показывая, что не хочет никого видеть.

По всему кладбищу расставлены прекрасные статуи ангелов: ангел, смотрящий на небо; ангел, спящий на каменной плите; ангел с голубем на руке; ангел, прижавший ладонь к сердцу; ангел, опустившийся на колени у фонтана. Глядя на них, можно подумать, что ангелы — это обычные персонажи, которые в реальной жизни встречаются на каждом шагу, вроде кошек и собак, тараканов и машин. Само кладбище покрыто

зеленой травой, и над ним возвышаются деревья, отбрасывающие длинные тени среди бела дня. А еще есть надгробия; одни похожи на домики, другие — на замки, а какие-то просто странные, но все интересные.

Всякий раз, глядя на кладбище, я думаю об отце, лежащем на Хэвенвэе, где его похоронили; его могила — просто холм красной земли, и мне почти хочется, чтобы он тоже был похоронен среди всей этой красоты, ведь здесь не возникает вопроса, почему умершим говорят: Покойся с миром. Когда мы переехали сюда из Детройта, я, впервые увидев кладбище, даже не поняла, что это для мертвых; я решила, это музей или вроде того, очередное занятное место, где происходят занятные вещи. Дорога, отделяющая наш дом от кладбища, похожа на ровную ленту, и мне всегда любопытно, где она закончится, если я пойду по ней. В Америке дороги — будто козни дьявола, будто любовь Бога, простираются повсюду, жаль только, что они, как ни крути, не приведут меня домой.

В моей голове есть два дома: дом до Парадайза и дом в Парадайзе; дом один и дом два. Дом один был лучшим. Реальный дом. Отец с мамой работали на хороших работах. Еды было вдоволь.

И одежды. Каждую субботу гремело радио, и все танцевали, потому что заниматься больше нечем — только веселиться и радоваться жизни. А потом его сменил дом два — Парадайз, и это жесть-жесть-жесть.

У мамы и тети Фосталины в головах три дома. Дом до независимости, когда я еще не родилась и черные сражались с белыми за нашу страну. Дом после независимости, когда черные получили страну. А потом — дом-развалюха, из которого тетя Фосталина ушла и приехала сюда. Дом один, дом два и дом три. У Матери Костей в голове четыре дома: дом, когда еще правил король, — до того, как пришли белые и украли страну; дом, когда белые украли страну и началась война; дом, когда черные вернули нашу страну, после обретения независимости; и новый дом. Дом один, дом два, дом три, дом четыре. Когда кто-нибудь говорит о доме, нужно внимательно слушать, чтобы понимать, какой именно дом человек имеет в виду.

Два дня назад по телику в новостях Би-би-си показали президента нашей страны. Он потрясал кулаками и говорил, что наша страна — дом черного человека, что она никогда больше не будет колонией, и всяко-разно. Тетя Фосталина схватила пульт с кофейного столика, направила

на телик, словно пушку, и выстрелила. Мы повернулись к ней и увидели, что она вся дрожит, а лицо так перекошено, будто она жевала колючки. Ти-Кей — он больше не толстяк, так как начал тягать железо и теперь похож на Уилла Смита в «Али», — засмеялся, но потом умолк, вероятно, из-за взгляда тети Фосталины.

Дядя Коджо взял пульт и включил снова. Тетя Фосталина сперва посмотрела на него как на врага, потом встала и молча вышла из комнаты. И как только она вышла, президент по телику сказал, словно открывал секрет, не предназначенный для тетиных ушей: Мы не против санкций, отделяющих нас от Европы; мы не европейцы. И дядя Коджо вскинул кулаки и стукнул ими друг о друга, реально так. Затем отдал честь телику и громко произнес: Покажите им, мистер президент, покажите этим колонистам поганым. Потом ухмыльнулся и посмотрел сперва на Ти-Кея, а после на меня.

Вот это, ребята, единственный мазафака с яйцами на нашем континенте. Ведущий политик Африки! сказал он. Мы с Ти-Кеем озадаченно переглянулись, затем улыбнулись и рассмеялись, потому что дядя Коджо впервые при нас употребил это слово — «мазафака», — и оно прозвучало

интересно и красиво. Ти-Кей, продолжая смеяться, вышел из гостиной и поднялся к себе. Позже на Facebook я увидела, что он рассказал там эту историю и получил уйму лайков и смайликов.

Я пью уже третий «Капри-сан», и мой живот так раздулся от гуав и жидкости, что вот-вот лопнет. Я доела последнюю гуаву, и на меня нашла такая грусть оттого, что придется ждать еще столько времени, возможно, не один год, прежде чем я снова укушу гуаву. Тетя Фосталина пытается заказать по телефону этот лифчик пушап, и слышно, что у нее возник какой-то затык с оператором. Это основная проблема с английским: обычно ты не можешь просто открыть рот и сказать, что хочешь. Сперва нужно обдумать, что ты планируешь сказать. Затем подобрать слова. Затем аккуратно расставить эти слова в уме. Затем тихо произнести их про себя и убедиться, что все окей. И наконец, в последнюю очередь проговорить их вслух и постараться, чтобы они прозвучали как надо.

Но из-за того, что процедура такая длинная, на последней стадии с тобой уже что-то случается, и язык заплетается, как у пьяного. Ты говоришь так, будто сейчас упадешь, отчего похож на идиота, хотя на самом деле это просто язык такой

упоротый, как и весь процесс. К тому же есть проблема с людьми, которые говорят только по-английски: они не умеют слушать; они заняты тем, что наблюдают, как ты падаешь, вместо того чтобы следить за тем, что ты говоришь.

Я решила, что лучший способ разобраться со всем этим, — говорить как американцы, и на помощь мне пришел телик. Это довольно просто; все, что требуется, — это посмотреть «Дашу-путешественницу», «Симпсонов», «Губку Боба», «Скуби-Ду», а потом перейти на «Такую Рэйвен», «Хор», «Друзей», «Золотых девочек» и так далее, — просто слушать и имитировать акценты. Если научитесь делать это хорошо, то сами не заметите, как люди перестанут просить вас повторить сказанное. А еще у меня есть список американских слов, которые я держу наготове под языком, как талисманы: «вполне себе», «заноза в жопе», «реальный», «отпадный», «конкретно», «косяк», «чувак», «фриканутый», «вычурный», «психануть», «упоротый», «типа», «кумарить», «мазафака», «разрешение», «пособие», «ипать», «на здоровье», «залупаться», «ничоси». Кроме того, телик научил меня при разговоре с кем-то смотреть в глаза, даже если это взрослый, даже если это невежливо.

Не знаю, почему тетя Фосталина не додумается выучить американскую речь моим способом, ведь это облегчило бы ей жизнь и избавило бы от таких ситуаций, в какой она оказалась сейчас.

Я сказала — «Ангел коллекшен», говорит тетя Фосталина. Она выключила звук на телике и увеличила на трубке, так что я тоже слышу оператора; это юная девушка с унылым голосом.

Извините, что? То есть я не совсем расслышала, может, помехи на линии. Я представляю, как она склонила голову, эта девушка, как хмурится от напряжения ее лицо.

Ангел, ангел, ангел, повторяет тетя Фосталина, повышая голос.

На том конце — тишина, как если бы девушка собралась, типа, молиться.

А-а-анге-е-ел, тетя Фосталина услужливо растягивает слово, будто разравнивает гравий. Я показываю ей губами: Энджел. Энджел[48]. И слышу, как девушка вздыхает.

Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать, мэм, говорит она наконец. По ее голосу слышно, что она начала уставать от бесплодных усилий.

В смысле, вы не понимаете, что я хочу сказать?

---

[48] Примечания: 48

Слово «ангел» (*англ.* angel) на английском языке произносится как «энджел».

Что вам непонятно? Такое простое слово! говорит тетя Фосталина. Она уже помогает себе руками и головой, и мне ясно по ее перекошенному лицу, что если девушка вскоре не догадается, то ничем хорошим это не кончится. Я прокашливаюсь, давая понять тете Фосталине, что я рядом и она может попросить меня поговорить за нее, но она этого не делает. Она уже нацарапала слово «ангел» по всему журналу, и женщина в нижнем белье одета теперь в черные каракули, похожие на маленьких злых насекомых.

Мэм, мне ужасно жаль, что у нас возникли эти… трудности. Но у нас есть веб-сайт, на котором вы можете зак… начала говорить девушка в телефоне неожиданно бодрым голосом. Она явно довольна тем, что подумала о веб-сайте и нашла решение проблемы. Я тоже испытываю облегчение и уже собираюсь бежать наверх, чтобы притащить свой макбук для тети Фосталины. Я встаю с дивана.

Нет. Я не стану. Заказывать. Онлайн, произносит тетя Фосталина твердо, отделяя слова, что не предвещает ничего хорошего. Я сажусь обратно. С каждым словом она тычет ручкой в лицо женщине с рекламы «Виктория'с сикрет». Я не стану заказывать онлайн. Я говорю по-английски, на-

сколько я пони…

Может, вы могли бы произнести по буквам? Теперь у девушки раздраженный голос, будто она мысленно уже сыплет крепкими ругательствами, которые не скажет вслух.

Пф-ф-ф, теперь вы хотите, чтобы я произнесла по буквам? спрашивает тетя Фосталина. Она смотрит на меня, как бы не веря в услышанное, но я отвернулась к телику — прежнюю женщину сменила другая, которая сидит на гимнастическом мяче. Я жду, что тетя Фосталина пошлет девушку в телефоне, — она уже явно на пределе, — но что-то заставляет ее передумать, она садится ровнее и начинает диктовать буквы.

Первая буква «эй», говорит тетя Фосталина. Голос у нее становится чуть спокойнее. Она пишет букву на странице журнала — для верности.

Окей, «эй» как в слове «эмоция»?

Не как эмоция. Как «анус», это другой звук. «Эн» как «нет». «Гэ» как «год». «Е» как «еда». «Эл» как «Ливия». Вот и все. Ангел. Ангел. Ангел, говорит тетя Фосталина.

Ненадолго повисает молчание; девушка явно пытается сообразить, что же она записала, и потом восклицает: А! Вы имеете в виду «энджел»!

Да, ангел, это я и пыталась сказать вам все это

время. Я хочу красный, говорит тетя Фосталина, раскатывая звук «р» так, словно во рту у нее что-то вибрирует, и я обещаю себе никогда так не делать.

Закончив разговор с дамой из «Виктория'с сикрет», тетя Фосталина набирает какой-то номер, но он, вероятно, занят, потому что она быстро кладет трубку. И сразу набирает еще один, ждет какое-то время, а после наговаривает сообщение на нашем языке с просьбой перезвонить. Я знаю, зачем звонит тетя Фосталина, — она хочет рассказать эту историю кому-нибудь на нашем языке, ведь так всегда делают в Америке, когда случается нечто подобное. Нужно рассказать кому-то, кто поймет тебя, в точности поймет, что ты имеешь в виду, и подтвердит, что это не твоя вина, а другого; рассказать кому-то, кто знает, что английский язык — это как большая железная дверь, от которой ты вечно теряешь ключи.

Оставив сообщение, тетя Фосталина просто сидит на месте, словно у нее внутри происходит важное совещание и она ждет, пока председатель выйдет наружу, склонится перед ней и объявит, что он решил все вопросы и она может идти заниматься другими делами. И еще у нее такой взгляд, я уже много раз его видела, но не уверена,

что он выражает: боль, гнев или грусть, — да и не знаю, есть ли вообще подходящее слово для его описания. Я стараюсь не встречаться с ней глазами, когда она убирает карточку обратно в сумочку, встает, идет в подвал и громко хлопает за собой дверью.

Я знаю, что она включит свет, спускаясь по скрипящей лестнице, что будет делать осторожные шажки, типа этот путь ее пугает; а войдя туда, она встанет перед зеркалом, которое занимает одну из стен, и уставится на свое отражение. Я знаю, что она будет смотреть не на свою худобу, она будет смотреть на свой рот. Я знаю, что она встанет там и начнет этот разговор сначала, вслух, тщательно подбирая все слова на английском, проговаривая все то, что должна была сказать девушке в телефоне, но не сказала, потому что не сумела найти нужных слов. Я знаю, что перед этим зеркалом тетя Фосталина будет красноречивой, что английский оживет на ее языке и она будет плеваться им, как жгучим ядом, словно это единственный язык, какой она когда-либо знала.

Этот фильм содержит травмирующие сцены

Марина — из Нигерии и считает себя африканской принцессой просто потому, что ее дедушка был там вождем или типа того; она носит все эти цветастые туземные прикиды, хотя они страшные и делают ее похожей на старуху. Кристал считает, что она лучше, чем Марина или я, поскольку научила нас наносить макияж, к тому же ходит с прической, но в действительности она даже не может написать без ошибок предложение на английском, чтобы показать, что она реальная американка. Я дружу с ними в основном потому, что мы живем на одной улице и все оканчиваем восьмой класс Вашингтонской академии. Сейчас мы втроем зависаем в подвале моего дома.

В такие дни, как сегодня, мы вместе выходим из школы и спешим смотреть видосики. Мы всегда делаем это у меня, потому что сюда никто до вечера не придет: тетя Фосталина и дядя Коджо всегда на работе, а Ти-Кей приходит домой только спать, как в отель. Приходя, мы бросаем сумки у двери и направляемся прямиком к подвальному

компьютеру. Раньше мы смотрели «Икс-Тюб», но теперь открыли для себя «Ред-Тюб», он повыше классом и почти без вирусов.

Мы включаем видосики в алфавитном порядке, чтобы не запутаться, и видели еще не все. Пока что мы видели азиаток, и это было пристойно; видели анал, и это было мерзко; видели африканок, и это было неловко; видели блондинок и большие сиськи; видели вибраторы, и это было странно; видели волосатых, и это было стремно; геев мы не видели, поскольку боялись смотреть и пропустили; видели грубый секс, и это походило на изнасилование; видели групповуху, и это было гадко; видели двойное проникновение, и это было страшно; видели иррумацию, и это было грязно; видели камшоты и кримпаи, и это было противно; видели китаянок, и это было тихо; видели куннилингус; видели лесбиянок, и это было интересно; видели латинок, и это возбуждало; и видели любителей. Сегодня у нас милфа, и, поскольку сейчас очередь Кристал, она выбирает видосик и жмет на «плей».

Начинается с того, что какой-то чувак в лыжной маске проникает в дом, и я сразу думаю, закрыла ли входную дверь на замок, потому что тетя Фосталина всегда мне говорит об этом, когда

я прихожу из школы. Я не помню, закрыла или нет, но идти наверх и проверять не хочу, так что просто говорю себе, что закрыла. Чувак, который в видосике решил забраться в дом, тянет время, слоняется без дела, заглядывает в окно, потом вынимает из кармана инструмент и поднимает раму. Спустя какое-то время он подтягивается и залезает, никуда не спеша. Когда залез уже наполовину, Марина говорит: Ну на хрен. И тянется к компьютеру, чтобы промотать.

Когда Марина снова включает фильм, этот мужик уже внутри женщины, так что она немного отматывает назад и останавливает там, где женщина встает с колен, облизывая губы с таким видом, будто только что ела сахар. Теперь мы видим, что мужик на самом деле молодой парень, но прибор у него что надо. Женщина выглядит гораздо старше, как бы в матери ему годится или типа того. Она подходит к перилам, разделяющим надвое большую гостиную, и ее намазанная маслом кожа блестит на свету. Татушка в виде красно-зеленого цветка спускается с обвисшей левой ягодицы на бедро и обвивает его.

Женщина подходит к перилам, закидывает на поручень длинную ногу и хватается обеими руками за шест для устойчивости, ногти ее кажутся

окровавленными на белом металле. Я смотрю на ее лиловые шпильки и думаю, как вообще кто-то может стоять на таких. Парень подходит к ней сзади, и прибор у него торчит, как змея. Я выключаю звук, потому что нам нравится самим озвучивать видосики, когда процесс реально начинается.

Мы научились издавать все эти звуки, так что, когда парень принимается обрабатывать женщину, мы стонем, и вздыхаем, и повизгиваем, наши голоса становятся пронзительней с каждым толчком, словно мы стали этой женщиной и чувствуем внутри мужской прибор, рвущий нас. Мы ненадолго затихаем, когда женщина снимает длинную ногу с поручня и наклоняется, продолжая держаться за шест. Теперь парень ее долбит-сверлит-буравит. Мы представляем, что он горячий, как огонь, и кричим, словно горим в аду. Обычно Кристал верещит громче всех, потому что у нее визгливый голос, но сегодня всех превзошла Марина.

Я тащусь, говорит Кристал, когда короткий видосик заканчивается и мы сидим, уставившись в экран. Голос у Кристал сел, типа она умирает от жажды. Она уже тянется к компьютеру.

Что бывает с мужским прибором, когда они са-

дятся на толчок по-большому? говорит Марина.

Похоже, он должен болтаться и окунаться в воду, говорю я.

Ты не думаешь, что им приходится сжимать вот так ноги, говорит Марина и сводит колени вместе, словно хочет посадить ребенка. А затем пристраивает в промежность руку, имитируя мужской прибор. Вот, это больше похоже на правду, говорит она.

Наверху надрывается телефон; я игнорирую его с тех пор, как начался видосик, и не хочу идти и брать трубку.

Ответь уже на звонок, и дело с концом, блин, говорит Кристал.

Мне хочется сказать, чтобы она не забывала, чей это дом, но вместо этого говорю: Сейчас вернусь, не начинайте без меня.

Увидев на определителе номер 011–263, я понимаю, что звонят из дома, и начинаю волноваться. В наше время, когда творится такое, всякий раз при виде номера из дома сразу накручиваешь себя, потому что звонить могут с чем угодно. Вот, на прошлой неделе звонила подруга тети Фосталины, МаДумэйн, и рассказала, что ее мужа, который работает в газете, среди ночи забрала полиция за какую-то его статью. Полиция посту-

чала в дверь, муж пошел посмотреть, и так его и взяли, в одних трусах. С тех пор от него ни слуху ни духу.

А потом, в другой раз, позвонила кузина тети Фосталины, НаСанди, и сказала, что ее сына Цепанга, моего ровесника, съел крокодил, когда он пытался переплыть Лимпопо и попасть в Южную Африку. Я помню, как в детстве играла с Цепангом однажды на Рождество. Тогда рождественский дед подарил мне желтый велик «Би-Эм-Икс», и мы с Цепангом по очереди катались на нем по кварталу, пока он не въехал в колючий куст. Он так орал, что охрип.

Если же звонят не с чем-то таким, то, значит, хотят попросить доллары на еду, потому что теперь дома за все платят американскими долларами и южноафриканскими рандами. Таких звонков тетя Фосталина боится больше всего — настолько, что вовсе не хочет подходить к телефону. Ей все звонят и звонят, словно кто-то сказал, что тетя Фосталина замужем за Банком Америки.

Сегодня звонит мама. Я рада слышать ее голос и начинаю улыбаться. Иногда я так по ней скучаю, что кружится голова, но ничего не могу с этим поделать. По ее голосу я понимаю, что все в порядке, и успокаиваюсь.

Удачно упала? говорит мама.

Упала? говорю я, пытаясь сообразить, что она имеет в виду. Откуда упала? не понимаю я.

С неба упала, потому что я, очевидно, тебя не рожала. Может, ангел родил, потому что иначе ты знала бы, что у тебя, вообще-то, есть мать, и могла бы время от времени звонить ей, интересоваться, как у нее дела, говорит мама. Я ничего не отвечаю, так как не уверена, что именно на это надо ответить. В последний раз мы общались недели две-три назад. Четыре. Я не помню.

Дарлинг, я не к тебе обращаюсь?

Я была немного занята, говорю я.

Да, ты была немного занята, потому что, как я слышала, у тебя теперь работа, жена и дети, о которых надо заботиться. И я вижу, что Америка научила тебя говорить с матерью по-английски, да еще с этим акцентом. Хе-хе-хе, значит, ты теперь пытаешься звучать как белая! говорит она и истерически смеется, и непонятно, она это всерьез или нет. Мне хочется назвать ее чокнутой, но я сдерживаюсь и напоминаю себе, что это одна из тех американских вещей, которые я не стану делать, и просто закатываю глаза. Я видела по телику, в «Шоу Мори» с Джерри Спрингером и прочими, как дети называли своих матерей

чокнутыми суками и шлюхами. Я проговаривала про себя эти слова, но знаю, что никогда не скажу такого вслух маме или кому-то из взрослых.

Ты передала тете Фосталине мою просьбу? спрашивает она.

Да, отвечаю я. У меня екает сердце, но я держу голос ровным, чтобы она не учуяла мое вранье. Я решила не говорить тете Фосталине, что мама просила денег на покупку спутниковой тарелки у сына соседки, который импортирует их из Китая.

Я собиралась сказать об этом тете Фосталине, но она пришла в тот вечер со второй работы совершенно выжатая, плюхнулась с тяжким вздохом на диван, и я просто не смогла.

Что ж, постарайся сказать еще раз. Нам нужна тарелка, почему ты хочешь одна наслаждаться красивыми вещами в этой Америке? говорит мама. Между прочим, тут твои друзья.

Мои друзья? говорю я.

Да, я увидела, как они тут бродят, и позвала их, мало ли, что они замышляли. Подожди минутку.

В отдалении слышатся знакомые голоса. На общем фоне я различаю Гадноуза и Сбо, и у меня бегут мурашки просто оттого, что я их слышу. Меня охватывает странное чувство, кружится

голова, и я присаживаюсь. Время растворяется, словно мы находимся в фильме и я как будто вошла в телефон и перелетела по проводам домой. Я никуда не уезжала, мне снова десять, и мы играем в страны, «Найди бен Ладена» и виллибол. Дразним Гадноуза за торчащую задницу, смотрим на драку, подражаем церковным прихожанам, наблюдаем за чьими-то похоронами. Нам нечего есть, но мы вместе, и мы дома, и все это слаще любого десерта.

Ты там? Чем занимаешься, спрашиваю? Это голос Сбо.

Ничем, говорю я.

Ничем? То есть ничем-ничем?

Ну…

Как она может заниматься ничем в Америке? Ерунда какая-то! слышу я Гадноуза на заднем фоне.

Я иду со школы, говорю я, стараясь не раздражаться.

Идешь со школы? Она идет со школы, а у нас тут ранний вечер, ха-ха, говорит Сбо — частично мне, частично остальным. Я слышу их смех, но не могу понять, над чем они смеются. Над разницей во времени? Да ладно.

Ты видела Викторию Бэкхем? Ким Кардашьян?

Леди Гагу? Опру? Была в Нью-Йорке? В Голливуде? Что на тебе сейчас надето? Есть у тебя белые друзья? Как их зовут? Сбо засыпает меня вопросами, и я не знаю, как реагировать, — их так много, словно она читает рэп. Ситуацию спасает Гадноуз, вырвав у нее телефон, — я слышу, как Сбо протестует и просит его вернуть. Затем слышу маму, заявляющую, что ее телефон не игрушка.

Че как, Дарлинг, как делишки, чика? Все путем? говорит Гадноуз. Я начинаю отвечать, но он меня перебивает: Я слышал все эти слова по телику у твоей мамы. Так вы там разговариваете, в Америке, следишь за мыслью, моя нигга, че там как со всеми шлюхами и мазафаками? Как Нью-Йорк? Как мой кореш Обама? тараторит он, и я коротко смеюсь, потому что снова не понимаю, как реагировать. Затем повисает неловкая тишина, тишина ожидания.

Ну, в общем, через несколько месяцев я буду жить в Дубае. Мой дядя наконец уехал из Лондона и теперь работает там, он приедет за мной, и я тоже уеду из этой отстойной страны, говорит Гадноуз, словно только что об этом вспомнил. Я понимаю по его голосу, что он улыбается во весь рот.

Это здорово, Гадноуз, говорю я.

Да, здорово, говорит он.

Снова повисает тишина, которую нарушают долгий крик из подвала и хихиканье. Я почти забыла, что там все еще сидят Кристал и Марина. Они, очевидно, смотрят видосики без меня, и это меня бесит. Я не замечаю, как Гадноуз отходит от телефона, и внезапно слышу Бастарда.

Как там Дестройдмичиген? говорит Бастард. Голос у него ломается и звучит странно; словно это кто-то незнакомый.

Дестройд — что? А, Детройт! Хорошо, но я там больше не живу. Я теперь живу в Каламазу, мы перебрались вскоре после того, как я приехала.

Вас заставили уехать?

Нет, совсем нет. Мы просто уехали.

Знаешь, ты везучая, Дарлинг, говорит он, выдержав паузу. Голос у него усталый, и я не знаю, что ответить, поэтому просто молчу.

Можешь прислать мне футболку с Леди Гагой и айпод? раздается на фоне голос Сбо.

Что там происходит? говорит Чипо, подходя к телефону.

Что происходит? говорю я. И слышу очередной крик снизу. Толстая муха летит через гостиную и садится на пиццу, которую кто-то оставил. Я беру газету, чтобы убить муху, но ее там уже нет.

Да на улице. Что ты видишь, когда смотришь на улицу? Есть там люди и что они делают? говорит Чипо.

Я гляжу на улицу через кружевную занавеску. Там никого, как будто пришла Марта Стюарт[49] и навела порядок. Когда я начинаю отвечать Чипо, что ничего не происходит, по улице проносится вереница полицейских машин, сверкая мигалками, завывая сиренами. Я насчитываю семь штук.

Только полицейские машины едут, говорю я.

А куда они едут? Они едут арестовывать кого-то? У вас там преступники? Что они натворили? Ты пойдешь посмотреть? допытывается она. На фоне Гадноуз спрашивает: Чего там такое, чего там мазафаки делают в Америке?

Я перекладываю телефон к другому уху, зажимая между головой и плечом. Чувствую себя как-то глупо; просто не знаю, как быть со всеми этими дурацкими вопросами. Я наклоняюсь к стеклянному столику и начинаю перебирать почту. Открытка на имя Ти-Кея с призывом: «Вступай в Армию США», розовый конверт «Виктория'с сикрет», красный конверт «Джей-Си-Пенни»,

[49] Примечания: 49

Марта Хелен Стюарт (род. 1941) — американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству.

реклама «Пиццы-Хат», конверт с приклеенным сверху пластиковым ключом, конверт из Банка Америки, конверт с Дискавер-кард.

Ну а здесь у нас вот что: твоя мама почти приготовила истшвалу и макимби[50], а Сбо стоит, смотрит на нее и ест гуаву.

Когда Чипо сообщает это, у меня странно щемит сердце. В горле становится сухо; язык увлажняется. Я вспоминаю все это на вкус, но вспоминать — не значит ощущать, и это причиняет боль. Я чувствую, как в глазах собираются слезы, и не вытираю их. Чипо тем временем продолжает:

…а по улице идет женщина в желтом платье и белой шляпе. Тащится, как гусеница, до того большая. Вот она остановила разносчика на велике и хочет купить у него жирного маиса. А теперь, теперь, о господи, вихрь налетел. Не очень большой, но все же вихрь, поднял в воздух пыль и мусор. Белье пляшет на веревке. Ха-ха-ха, у женщины платье задралось, и она его опускает обеими руками. Нам видно большие коричневые ляжки и безразмерные зеленые трусы. Моя дочка пытается летать на этом ветру, побегу ловить ее, пока.

---

[50] Примечания: 50

Истшвалу — маисовая каша; макимби — жареные мопановые гусеницы.

Маленькими мы любили играть на ветру при каждой возможности. Мы выбегали из домов ему навстречу, раскинув руки как крылья, глядя в небо, балансируя на цыпочках. Мы хотели, чтобы ветер подхватил нас, а когда не подхватывал, крутились юлой, распевая: Возьми меня в Лондон, детка. Повидать дядю, детка. У которого детка, детка. Девочка детка, детка. О-о-у-а, детка! Я напеваю эту песню, когда Стина спрашивает, чем я занимаюсь. Его голос доносится издалека, словно он говорит с дерева.

Странное дело; эту же песню напевала Чипо, когда ходила сейчас за Дарлинг, говорит Стина после того, как мы поздоровались. Дарлинг — это дочка Чипо; они утверждают, что решили назвать ее в мою честь, на случай если со мной что-нибудь случится в Америке. Это вроде бы мило, но я не знаю, как относиться к тому, что кого-то называют в мою честь, словно я умерла или типа того.

Когда ты вернешься? говорит Стина после долгого молчания. Я открываю рот и слышу в голове голос тети Фосталины. Я не знаю, как сказать Стине, что понятия не имею, когда приеду домой. В окно мне видно, как по дорожке к дому идет высокий почтальон. Я жду, когда он позвонит в

дверь, и тогда прошу Стину подождать, затем кладу телефон, зная, что больше не подойду к нему. Трудно объяснить это чувство — будто я раздвоилась. Одна часть меня жаждет быть с друзьями; другая уже не понимает, как найти с ними общий язык, ведь они кажутся чужими. Я испытываю легкое чувство вины, но отгоняю его.

Получив посылку, я закрываю дверь и смотрю, как почтальон идет назад к грузовику. Он высокий и сильный, и я думаю о том, как не могла взглянуть ему в глаза, когда он сказал мне расписаться за посылку. Как чувствовала, что он склоняется надо мной, со своими волосатыми руками и ногами. Еще я думала о том, как выглядел бы его прибор, если бы он снял свою форму. Увидев, что почтовый грузовик отъезжает, я кладу посылку на кухонный стол. Она от «Виктория'с сикрет» на имя тети Фосталины, и я понимаю, что там лифчик пушап. Ее имя написали как Фостерлайн[51].

Когда я спускаюсь в подвал, Кристал и Марина смотрят что-то запредельное.

Это что, блин, такое? говорю я.

Шимейл, говорит Кристал.

---

[51] Примечания: 51
Фостерлайн (*англ.* fosterline) — здесь: приемная семья.

Какой еще шимейл? И почему это вы перескочили на «ш»? говорю я.

Подумаешь, говорит Кристал. Везде люди ебутся, разве нет? Она отодвигается, освобождая мне место, но я продолжаю стоять, уперев руки в боки, еще не решив, сесть или развернуться и уйти, громко топая по лестнице и давая им понять, что я обиделась.

На экране — высокая прекрасная девушка, но у нее член. Не как те фальшивые, какие надевали лесбиянки, когда мы были на букве «л»; нет. Реальный член. Из всех видосиков, что мы смотрели, этот меня ошарашивает, и я чувствую, как голова идет кругом. Я и раньше считала, что мы делаем что-то плохое, но при виде длинных волос, приятного лица, мужского кадыка, женских грудей и большого члена на одном теле я в этом уверяюсь с новой силой и говорю: Не надо вам было перескакивать.

Ладно, давайте вернемся, быстро соглашается Марина, и я понимаю по ее голосу, что она тоже не готова смотреть на шимейла. Я облегченно выдыхаю и сажусь, пока она тянется и нажимает на кнопку «назад».

Йо, тут моя подружка Алексис скинула мне клевую ссылку. Хотите заценить? говорит Кристал.

А что там? говорю я.

А я, блин, знаю? Наш компьютер такой тормознутый, словно пытается Иисуса загрузить.

Ну, ты же сказала, что это клевая ссылка, как будто уже глянула, говорит Марина.

И? Подвинься, говорит Кристал и тянется к клавиатуре.

Первое, что мы видим, — это надпись: «Этот фильм содержит травмирующие сцены». Я смотрю на Кристал, а затем на Марину — мол, что они об этом думают, потому что это мне напоминает, типа, ужастик, а я не настроена на ужасы. Кристал проводит руками по шевелюре, а Марина начинает барабанить по бедрам, так что я в итоге пожимаю плечами и поддерживаю ее барабанную дробь голосом, но затем раздается безумный крик, и мы все замираем.

Чувство такое, будто этот крик вобрал в себя всю боль на свете и теперь задыхается от нее. Он повисает в воздухе, как что-то живое. Мне он кажется знакомым, словно я его уже слышала, но не могу припомнить, где и от кого. Мне очень хочется выключить звук, и я знаю, что другим тоже, — настолько ужасен этот крик, — но никто не трогает мышку. Наконец камера отъезжает, и мы видим девушку, она лежит на полу, сжимая

кулаки, запрокинув голову и скаля зубы. На ней — желтое платье с белыми цветами, и у нее такие мощные длинные ноги, которые могли бы далеко унести ее.

Затем в кадре появляется эта женщина. Она хватает девушку за ноги, и та начинает брыкаться, словно в нее дьявол вселился. После возникает орава женщин, они набрасываются на девушку, прижимая к полу. Глядя на все это, я вспоминаю, как дома мужчины удерживали козу во время забоя или как Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро с евангелистами усмиряли красивую женщину на горе, изгоняя из нее демона. Теперь эти женщины кричат что-то девушке, и я, не зная их языка, понимаю по интонации, что они велят ей перестать вопить и брыкаться и просят взять себя в руки.

Лишь одна женщина не участвует в действе, и это потому, что у нее длинный нож. Высокая, крупная женщина с большими руками, жирафьей шеей. Ее округлое лицо почти красивое. Овальные глаза. Большие груди. Длинная юбка цвета осенней листвы, красная блузка. В ушах — желтые кольца, разноцветные браслеты на запястьях, кольца на пальцах. В одной руке — грязная тряпка, а в другой — нож; мне хочется

спросить, что она собирается делать этим ножом, но я знаю: если открою рот, то слова застрянут у меня в горле. А сбоку там стоит старуха с морщинистой кожей. Она смотрит на все и кивает с прищуром. Кивает и кивает, держась обеими руками за трость.

Женщина с ножом начинает чистить его тряпкой, и по моей коже пробегает холодок. Она делает это медленно и старательно, с хмурой сосредоточенностью на лице, словно знает, что мы наблюдаем за ней. Она плюет на нож, вытирает, плюет, вытирает и, довольная результатом, отбрасывает тряпку. Я уже сижу, плотно сжав колени. Бросаю взгляд на Кристал и Марину — они сидят так же.

Затем женщина с ножом наклоняется к девушке, закусив нижнюю губу, ее толстые пальцы крепко обхватывают рукоятку. Когда нож касается девушки, Марина встает, и мы слышим, как она бежит вверх по лестнице. Я тоже хочу встать и убежать, но мои бедра налились тяжестью, так что я остаюсь на месте, просто прикрыв глаза рукой и слушая крики девушки, — они настолько пронзительны, как будто ее голос облили парафином и подожгли.

Когда я снова смотрю на экран, пол там залит

кровью. Девушку передвинули в угол. Ее платье расправили на ногах; совершенно непонятно, что творилось всего несколько минут назад. Она больше не кричит и не брыкается, словно что-то, бесновавшееся в ней, отрастило крылья и улетело, и теперь она похожа на цветок, вырванный с корнями из влажной земли. Мы с Кристал сидим и не шевелимся, тупо глядя в экран, и по тому, как мы не смотрим друг на друга, я понимаю: мы никогда не станем говорить об этом.

Двигаем в «Перекресток»

Кристал слишком молода, чтобы получить водительские права, но это не значит, что она не может водить, и как раз поэтому мы сейчас направляемся в молл «Перекресток». Это машина Марининой мамы — она работает ночью в больнице Боргесс, а днем спит, как сова, и просыпается в пять вечера, так что у нас достаточно времени, чтобы съездить в молл и вернуться. Марина говорит, что мама ее спит как убитая и даже в туалет встает и идет с закрытыми глазами, спотыкаясь и натыкаясь на все, будто курица с отрезанной головой; если бы она вышла на улицу, то ничего не увидела бы.

Мы никогда еще так не делали и не сделали бы, мы с Мариной вообще сперва сомневались, но, увидев, как Кристал выводит машину задом из гаража и заводит назад, пользуясь одной рукой, осмелели и заскочили к ней, пристегиваясь и хихикая. Правда, когда уже были готовы выехать, подкатил мистер Харрис. Мистер Харрис — Маринин сосед; мы увидели, как его машина ползет по улице в нашу сторону, пригнулись и не высовы-

вались, пока не услышали, как он припарковался у своего дома и хлопнул дверцей. Мы подняли головы и увидели, как мистер Харрис прошаркал к почтовому ящику, а потом к дому — так медленно, словно ему пообещали приз, если это займет у него не меньше десяти лет.

Марина устроилась на переднем сиденье, поскольку это машина ее мамы, а я на заднем, позади Кристал, и меня это устраивает — на случай лобового столкновения или типа того. Первые несколько минут я сижу, подавшись вперед, и рассматриваю тонкие руки Кристал на руле. При этом сжимаю, словно руль, спинку ее кресла. Марина сидит тихо, а это значит, что ей тоже не по себе, возможно, она даже подумывает сказать, что просто пошутила, что нам надо поворачивать назад и забыть о «Перекрестке». Кристал же болтает без умолку, но я ее не слушаю; я пытаюсь понять, куда эта затея нас приведет.

В какой-то момент машину бросает влево, и я резко втягиваю воздух, готовая закричать, но сдерживаюсь, потому что никто не кричит. Некоторое время мы едем молча, но, когда Кристал без проблем проезжает Патерсон и поворачивает влево на Кобб, я чувствую себя лучше и сажусь на сиденье всей задницей. В районе Уэстнеджа

мы уже сидим, открыв окна и высунув в них локти, словно купили машину на свои деньги и заплатили за дорогу.

Сегодня утром, в наш последний день в средней школе, один школьник принес в класс заряженный пистолет, поэтому академию закрыли и всех распустили по домам с записками. Те, кто это видели, говорят, что у школьника был список людей, которых он хотел застрелить. Говорят, заряженный пистолет случайно выпал у него из рюкзака и выстрелил; школьника скрутил уборщик, пока тот никого не убил.

Я сама ничего не видела, но слышала из кафетерия, как пистолет разряжали — бах-бах-бах, — и к тому времени ребята и учителя уже кричали и метались повсюду как куры, забивая коридоры и пытаясь выбраться все сразу. Это мне напомнило беспорядки из моего детства: когда началась разруха, магазины опустели и люди, высыпав на улицы, бежали, словно спасаясь от смерти, за грузовиками с кукурузной мукой, сахаром, растительным маслом, хлебом, мылом и чем угодно.

По правой стороне мимо проплывают церкви и алкогольный магазин, по левой — китайский магазин волос и гараж; слева остается заправка «Шелл», а справа — «Спидвей»; далее мы проезжа-

ем тату-салон, банк, «Холидей-инн», «Старбакс», красивую частную старшую школу — осенью Марина пойдет в нее, а мы с Кристал — в Центральную; проезжаем китайский ресторан и индийский ресторан, аптеку «Уалгринс», «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Поскольку мы едем куда хотим и сами все решаем, сегодня поездка по городу кажется особенной — как будто все, что мы видим, типа наше, будто мы все это купили. Я растопыриваю пальцы на ветру, то и дело хватаю его и бросаю обратно.

Так мы катаемся, и мне приходится слушать эту дурацкую песню Рианны, которую все крутили в школе, словно гимн или типа того. Ну, песня, может, и не дурацкая, просто меня в целом тошнит уже от всей этой темы с Рианной, оттого что она буквально везде и даже в новостях. Да, ее чокнутый бойфренд распускал руки, но это же не значит, что теперь ее лицо должно отовсюду смотреть на меня, типа она гуманитарный кризис, типа она Судан или вроде того. Мы катаемся, она заливается, и мне уже хочется схватить радио и выбросить в окно. Проезжая магазин для взрослых по правой стороне, мы слышим вой сирены и понимаем, что нас преследует полиция. Все веселье внезапно обрывается, словно нас

окатили водой из ведра.

Когда в последний раз нас останавливала полиция, я была в машине с дядей Коджо и тетей Фосталиной, мы ехали по хайвею, откуда-то возвращаясь. Полицейский хотел увести дядю Коджо, но не увел, потому что тетя Фосталина умоляла и умоляла, и в итоге он просто позволил им уплатить штраф прямо на месте. Марина говорит о том, что мама ее убьет, Кристал тоже что-то говорит, но я вообще не слушаю, я думаю, что с нами будет; в Америке за решетку сажают не только взрослых и реальных преступников.

Кристал съезжает на обочину и паркуется. Я оборачиваюсь, а сзади — сплошь синие мигалки и сирены. Мне хочется открыть дверь и бежать, просто бежать, но потом я вспоминаю, что полиция может запросто пристрелить за такую мелочь, если ты черная, так что остаюсь в машине и говорю: Не надо нам было ехать, что теперь будем делать, что скажет тетя Фосталина?

Когда полицейские машины просвистели мимо и исчезли, мы переглянулись, словно сидели в темноте и кто-то вдруг включил свет. Мы понимаем, что полиция не нас преследовала, а просто неслась куда-то, а мы оказались у них на пути. С наших лиц уходит страх, и мы сидим и смеемся

— сперва скованно и нервозно, а потом смелеем, и наши голоса набирают силу, и мы смеемся по-настоящему, всерьез, словно хотим завести машину одним своим смехом.

Мы снова выезжаем на дорогу, и, когда останавливаемся на красный свет рядом со статуей солдата на лошади, я чувствую себя совершенно счастливой оттого, что нас не арестовали, ужасно счастливой, и неожиданно для себя начинаю петь ту песенку, которую мы пели в школе в Африке, когда были маленькими:

Кто открыл путь в Индию?
Васко да Гама! Васко да Гама!
Васко да Гама! Васко да Гама!

Я уже не в угнанной машине с Кристал и Мариной, я уже не в Америке на пути к моллу, и голос мой взмывает все выше, выше и выше, лучше, чем у Рианны. Я теперь дома-дома, с друзьями в школе, и мы все в коричневой форме с желтыми воротничками и эмблемой Начальной школы королевы Елизаветы, на которой нарисовано восходящее солнце и красным курсивом внизу написано: «*Знание — сила*». Мы собираемся в Индию, маршируем по следам Васко да Гамы, одетые в белые носки и черные туфли. Поскольк-

ку я теперь там и поскольку там надо петь так, словно внутри горит огонь, я пою, пока Марина не начинает кричать мое имя, а Кристал не выключает радио со словами: Хуя се? Давай уже потише, блин.

А когда ты звук на полную врубала, слушая свои дурацкие песни, разве я жаловалась? говорю я.

Ну, мы хоть не слухали туземную фигню, говорит Кристал, уходя от вопроса. Я не знаю, всерьез она это или нет, но с недавних пор, как у нее выросла такая грудь, словно она решила стать кормилицей всея Америки, Кристал не упускает случая поважничать, типа ее королевой назначили.

Все равно оставь меня в покое, говорю я. И, к твоему сведению, я пою по-английски.

Как бы не так, говорит Кристал, и Марина хихикает. Мы проезжаем через участок с дорожными работами, и две полосы движения сливаются в одну. Слева от нас — ряды бочек.

Тебе-то откуда знать? Ты сама английский не знаешь, говорю я.

Чо-чо? говорит Кристал. И я представляю, хотя она и не оборачивается, какое у нее лицо. Все видно по голосу. Скривленные губы. Прищуренные глаза. Хмурый взгляд. Че-че?

Ну, это правда, всем известно, что ты английский толком не знаешь. Вот как сейчас: «че-че» — что это вообще такое? говорю я. Марина натянуто кашляет. И что значит «сечешь фишку»? «Рубишь фишку»? «Я тащусь»? Вся эта ахинея. Трудно, что ли, сказать: «прошу прощения»? Или просто: «что ты сказала»? Понимаешь? Понимаешь, о чем я? Я в восторге?

Ты че рамсишь? говорит Кристал, и я понимаю по голосу, что лицо ее перекошено, однако не собираюсь отступать.

Это правда. Когда мы только познакомились, я вообще не разбирала, что ты говоришь, ни единого слова, ни фига, а ты сидишь тут и утверждаешь, что ты американка и знаешь английский!

Я уже тараторю, и мне приходится притормозить, потому что, когда я волнуюсь, я начинаю говорить не очень гладко и мой американский выговор пропадает. Но я понимаю, что неплохо высказалась, потому что Кристал сидит какое-то время молча, просто уставившись перед собой на дорогу и ничего не говоря. Марина оборачивается и от души дает мне пять. Неожиданно до нас доносится запах дегтя или чего-то такого горелого; ужасная вонища.

Фу, говорит Марина и закрывает нос руками,

словно это поможет.

Ты ваще не в теме, говорит наконец Кристал и оборачивается ко мне с такой миной, будто это я тут воняю. Во-первых, это называется эбоникс[52], и это такая языковая система, тока нашинская, сечешь фишку? Птушта мы никому не подражаем.

Прошу прощения? говорю я.

Ну-ну, прошу прощения, жопа с ручкой, строишь из себя белую дурочку, говорит она.

Что ты сказала? говорю я.

Слышала, бля, говорит Кристал. Машина слегка замедляется.

А вот и неправда. Просто мы так разговариваем, говорит Марина.

Тебя кто-то спрашивал, дура? говорит Кристал, поворачиваясь к Марине. И ваще молчала бы лучше. Видела я энти нигерийские фильмы, вы все говорить не умеете, и точка; зачем еще, потвоему, у вас энти субтитры? говорит Кристал. Я не хочу, но смеюсь.

Ну, это как бы правда, в каком-то смысле. То есть, когда я смотрю твои фильмы, мне тоже приходится читать субтитры, даже если там как

---

[52] Примечания: 52

Эбоникс (*англ.* Ebonics) — афроамериканский английский язык; название складывается из сочетания слов ebony (черный) и phonics (фонетика).

бы по-английски говорят.

Это птушта мозгов не хватает. И что значит «мои фильмы», я что, в них снималась, по-твоему? говорит Марина ядовито. Кристал смеется, а я смотрю в окно на собаку, сидящую на заднем сиденье другой машины: она уставилась прямо перед собой, словно следит, чтобы водитель не повернул, куда не надо, типа такая собака-инструктор. Ремонт кончается, и мы снова выезжаем на двухполосную дорогу.

А что касается мозгов, должна признать, вы все дико мозговитые, птушта иначе не замутили бы эту хрень четыреста девятнадцать[53], говорит Кристал Марине. Машина перестраивается в другую полосу.

Что за хрень четыреста девятнадцать? говорит Марина.

Она про электронное мошенничество; не притворяйся, что не знаешь, говорю я. Типа, дорогая мисс Дарлинг, нам нужна ваша помощь, чтобы отмыть эти черные деньги, заплатим миллион баксов. Или: я менеджер банка, наш богатый клиент погиб в авиакатастрофе и не имеет родственников, поэтому можно мы дадим

---

[53] Примечания: 53

419 fraud — так называемые нигерийские письма, электронное мошенничество.

вам двадцать миллионов? Знаешь, такого рода идиотские письма, у меня их набралось не один десяток в спаме, и все от нигерийцев, говорю я.

Не понимаю, о чем ты. Никогда не видела, говорит Марина.

Ну, это птушта вы их рассылаете, говорит Кристал. Я хлопаю в ладоши, и мы обе смеемся.

Не смешно, говорит Марина. Голос у нее плаксивый, и мы перестаем, потому что это все-таки машина ее мамы.

Кто-нить знает, какой предел скорости? говорит Кристал.

А как это узнать? Может, есть знаки какие-то или типа того? говорю я.

Когда мы подъезжаем к железнодорожному переезду, семафор мигает, и эта палка начинает опускаться. Кристал надеется обогнать поезд, но скорости не хватает, в итоге она бьет по тормозам, и нас бросает вперед; я хватаюсь за спинку ее сиденья, чтобы не врезаться в него.

Мой косяк, мой косяк, говорит Кристал.

Поосторожнее давай, это машина моей мамы, говорит Марина.

Спокойно, башка, я же сказала, что это мой косяк, говорит Кристал.

Мы сидим и смотрим на поезд. С синими прихо-

дится обычно ждать минуты три, и можно ехать, но этот — из длинных, коричневых, которые тянутся целую вечность; даже Богу не понадобилось столько времени, чтобы создать всю эту фигню.

Глядите, глядите, говорит Марина. Мы смотрим налево и видим, как чувак за рулем красной машины высунулся в окно и пялится на нас, словно мы знакомы. Когда он высовывает длинный язык и облизывается, Марина взвизгивает.

Гадость, не смотри на этого засранца, говорит Кристал, но я перехватываю его взгляд. Когда ребята высовывают язык, мне это кажется пугающим и притягательным. Поезд перед нами все грохочет и грохочет, вагон за вагоном, вагон за вагоном. На некоторых вагонах — граффити, но я не могу разобрать, что там написано. Потом проезжает последний вагон, эта палка поднимается, и мы едем дальше.

Мы паркуемся перед «Бордерсом»[54], и прямо на выходе с парковки, рядом с черным фургоном, я вижу мою машину. Без малейших колебаний я бегу к ней и ору: Моя «Ламборгини», «Ламборгини», «Ламборгини-Ревентон»! Наверное, я в

[54] Примечания: 54

«Бордерс» (*англ.* Borders) — некогда крупнейшая американская сеть магазинов, торгующих книгами и музыкой; обанкротилась в 2011 году.

этот момент похожа на фрика, так как Марина оттаскивает меня в сторону и спрашивает, что я творю.

Ты знаешь, сколько стоит эта машина? говорит она, когда мы выходим с парковки.

Сколько? говорю я.

Почти пару миллионов долларов, говорит она.

Врешь. Миллионов? За такую машинку? говорю я.

Хах, говорит Кристал.

Можешь загуглить; эта машинка, вообще-то, одна из самых дорогих на свете, говорит Марина.

Ну и ладно, говорю я и закрываю тему. Перед входом в молл я останавливаюсь, чтобы пропустить машину. В голове крутится мысль, которую я не хочу произносить вслух: если эта «Ламборгини» стоит так дорого, значит, ее у меня никогда не будет, а если ее у меня никогда не будет, получается, я бедная, и если так, то зачем тогда нужна Америка?

Я оглядываюсь на парковку, но не вижу «Ламборгини» среди массы машин. Я по-всякому вытягиваю шею, но ее нигде нет, она испарилась как сон — ты знаешь, что он тебе снился, но не помнишь, о чем он был. Теперь я иду чуть позади Кристал и Марины, чтобы то и дело оглядывать-

ся. Окажись здесь Бастард, Стина, Чипо, Гадноуз и Сбо, они сейчас подыхали бы со смеху, орали, вопили и стебались надо мной.

В «Бордерсе» нас приветствует старушка с бесцветной улыбкой в красном жилете, увешанном бейджиками, и говорит: Что вам подсказать сегодня, леди? Однако мы проскальзываем мимо, словно сквозь нее. Впереди идет Кристал, за ней — Марина, а сзади я. Пахнет новыми книгами, но мы не останавливаемся ни на что взглянуть, хотя мне как бы хочется — я ничего против книг не имею. Только давненько не читала ничего интересного, поскольку вечно некогда из-за компьютера или телика. Последняя книга, которую я прочла, — это «Джейн Эйр», с ужасно длинными и закрученными предложениями, нагонявшими на меня скуку; сама эта Джейн тоже постоянно бесила меня своими глупыми решениями, да и вся эта дурацкая история вызывала желание выбросить книгу. Но я читала через силу, потому что надо было написать сочинение по литературе.

Сейчас раннее утро, и молл полумертвый. Дома в такое время тут уже бурлила бы жизнь: детвора каталась бы по эскалатору, словно он способен отвезти их на небеса, их крики вздымались бы, как небоскребы, — и разносились бы даже по тре-

тьему этажу, где находится «Виктория'с сикрет»; матери сплетничали бы и пересмеивались на первом этаже, периодически поглядывая наверх и выкрикивая что-то детям; кругом царило бы беспрестанное движение, потому что женщины никогда не стоят на месте, они всегда находят занятие, всегда суетятся; мужчины занимались бы чем-то своим, может, на тех скамейках возле «Пэйлесс»: передавали бы по кругу одну сигарету «Кингсгейт», или сгрудились бы вокруг одной газеты, или обсуждали бы футбольные матчи в Европейской лиге либо войну в Ираке, и их голоса, даже самые глубокие, никогда не перекрывали бы голоса женщин и детей, потому что мужской голос должен быть тихим; там, на открытом пространстве, где индианка делает тридинг, другие дети танцевали бы под хаус, под диджея Сбу, диджеев Зинле и Божо-Мюжо, дурачась и выкручивая свои тела так, словно они знают, что это не их собственность, и не боятся сломать их; на массажных креслах у лифта развалились бы, как ящерицы на солнце, беззубые старики, они постанывали бы от массажных приборов, обрабатывающих их дряхлые тела; у телефона возле магазина свечей стояла бы нетерпеливая очередь из тех, кому надо позвонить родственни-

кам в такие места, как Чикаго, Кейптаун, Париж, Амстердам, Лилонгве, на Ямайку и в Тунис; в воздухе витали бы умопомрачительные ароматы утренней еды, не оставляя ни единого шанса парфюму из «Мэйси'с»; а в скверике возле «Футлокера», под искусственным деревом, может, кто-нибудь читал бы библейскую проповедь, вокруг собралась бы небольшая толпа, может еще не решившая, верить или нет, и под ногами у них, как и по всему моллу, валялся бы мусор, говорящий о том, что здесь живут люди.

На меня находит странное чувство. Марина громко зовет меня сверху, и я понимаю, что потерялась в своих мыслях, а они поднялись, оставив меня стоять у салона пирсинга. Я заскакиваю на эскалатор и еду наверх. На другом эскалаторе, едущем вниз, человечек с прилизанными волосами держит два больших мешка с мусором. На бейджике его имя: Джизус — то есть Иисус. Мы улыбаемся друг другу, потому что так принято; поравнявшись со мной, он говорит: Буэнос диас, сеньорита[55]; и я улыбаюсь еще сильнее и отвечаю: Буэнос диас.

В магазине «Бест бай» Кристал стоит в наушни-

---

[55] Примечания: 55
Buenos días, señorita — доброе утро, сеньорита (*исп.*).

ках и трясет головой. Марина глазеет на айподы, словно собирается что-то покупать. Я останавливаюсь перед постерами, но потом замечаю дивиди и подхожу к ним. Беру один — со словом «Солт» и Анджелиной Джоли на обложке. Я еще вообще-то не смотрела ни одного фильма с Анджелиной Джоли, но знаю, что она может приехать в любую точку мира и взять себе любого ребенка. Когда я увидела, что она удочерила ту хорошенькую девочку из Эфиопии, мне стало завидно; мне захотелось, чтобы она приехала в мою страну, когда я была маленькой, и взяла заодно и меня. Сейчас я могла бы быть Дарлинг Джоли-Питт, жить в поместье, летать повсюду на частных самолетах и все такое. Но, опять же, она могла бы выбрать и Сбо, самую хорошенькую.

Заметив дивиди с типом, который пытается выглядеть как Нельсон Мандела, я беру его, а Джоли ставлю обратно. Фильм называется «Непокоренный». Я его не видела, но слышала о нем; может, попрошу тетю Фосталину выбрать его в «Блокбастере» или уговорю Ти-Кея скачать с «Нетфликса».

Че делаешь? говорит Кристал, выходя из музыкального отдела. Она разворачивает жвачку; я протягиваю руку, она закатывает глаза, роня-

ет ее мне на ладонь и начинает разворачивать вторую.

Не видишь — гляжу на «Непокоренного»? говорю я с таким видом, словно уже посмотрела фильм. И бросаю жвачку в рот; это мятная.

Знаешь, кто этот чел? говорю я, показывая Кристал обложку.

Пф-ф-ф, кто не знает Моргана Фримана? говорит она.

Это понятно, я в смысле, кого он играет в фильме?

Кого?

Нельсона Манделу, говорю я с неожиданной для себя гордостью в голосе — словно о ком-то, с кем лично знакома, с кем играла в страны или типа того.

А, ну да, это тот старый чел, который на футболках. Я зарулю в «Джей-Си-Пенни», если чо, говорит Кристал и выходит из «Бест бай».

Снаружи Марина тормозит перед ювелирным, где лежат наручные часы. Я останавливаюсь, но Кристал идет дальше, в сторону «Джей-Си-Пенни». Часы выглядят красиво и внушительно. Я кладу руки на талию и смеюсь.

Над чем смеешься? говорит Марина.

Цены, типа, смешные. Кто купит часы за три

тысячи долларов? говорю я.

Ну, если бы у меня были деньги и я могла бы себе это позволить, то определенно купила бы. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть красивые вещи, говорит Марина.

Ладно, говорю я и сую свою жвачку Марине в ухо — просто позлить, потом иду дальше, к следующей витрине с бриллиантовыми кольцами. Они слишком дорогие, и я знаю, что не стала бы их покупать, даже имея все деньги мира. А затем вижу кольцо, непохожее на другие. Само оно закручено, а вставка сделана из россыпи бриллиантов, будто усыпана крошечными семечками. На ценнике указано $22 050, и я начинаю говорить Марине, что это сумасшедший магазин, как вдруг прикусываю губу изнутри. Боль такая, что я закрываю глаза и зажимаю губы ладонью, а по всему рту разливается соленый, металлический вкус крови.

В «Джей-Си-Пенни» мы направляемся прямиком в молодежный отдел. Берем джинсы, футболки, платья, свитера — просто набираем все, что нравится. Мы почти не разговариваем, потому что не хотим, чтобы кто-нибудь заметил нас и стал спрашивать, почему мы не в школе, где наши матери, и всякое такое. Иногда мы теряем

друг друга на несколько минут, но потом снова натыкаемся, потому что кружим и кружим по залу. Набрав целые охапки, мы идем в примерочные. Есть магазины, где не разрешают брать в примерочную больше пяти-шести вещей за раз, но «Джей-Си-Пенни» не такой; здесь бери хоть гору, если хочешь, никто ничего не скажет.

Давайте приоденемся на вечеринку, кричит Марина из своей примерочной.

Тсс, не так громко, дура, говорит Кристал.

Какую вечеринку? говорю я.

На шестнадцатилетие, говорит Марина уже тише.

Вскоре мы выходим. На Марине — черное платье без бретелек с блестяшками на груди, спускающимися до самого живота; часть юбки прикрыта чем-то кружевным. Кристал — в красном платье с оборками; оно без рукавов и с глубоким вырезом, из которого торчат ее большие сиськи, прямо как ей нравится, и сейчас она выпячивает грудь, чтобы подчеркнуть их. Ну а я — в длинном кремовом платье в пол. Мы стоим как модели, пялясь на свои отражения.

Чтобы носить такое платье без бретелек, нужны сиськи, говорит Кристал, глядя на Марину в зеркале. Я хихикаю, но не сильно, поскольку

мои сиськи тоже мельче мелких; иногда я не понимаю, зачем вообще ношу лифчик.

Ладно, говорит Марина и закатывает глаза.

Согласившись, что платье Кристал лучшее, мы снова расходимся по кабинкам — переодеваться для танцев. А выйдя, обнаруживаем, что выглядим как шлюхи: мини-юбки, в которых нельзя наклониться, чтобы не показать трусики, и обтягивающие топы, в которых почти невозможно дышать. Мы проводим перед зеркалом не так много времени, возможно, потому, что слегка стесняемся. И спешим обратно — переодеваться для девичника. В очередной раз осмотрев друг друга, мы смеемся, потому что все одеты в однотипные джинсы в обтяжку, а Марина и Кристал и вовсе в одинаковых кружевных рубашках без рукавов. Поскольку на мне хоть что-то другое — топ с V-образным вырезом и французским флагом на животе, — я выигрываю раунд, но, когда поворачиваюсь, чтобы вернуться в кабинку, Марина говорит: Могла бы надеть что-то с африканским флагом.

Мы переодеваемся для выпускного, для церкви, для красной дорожки, для свидания вслепую; просто переодеваемся снова и снова и каждый раз встречаемся, чтобы восхититься и сравнить.

Когда мы переоделись для футбольного матча, к примерочным подходит невысокая женщина в медицинской форме с парой платьев в руках. Она нам ничего не говорит, просто идет мимо в конец ряда, к примерочной для инвалидов. Кристал непроизвольно смеется, но, когда женщина закрывает дверь, Марина говорит: Я переодеваюсь и собираюсь домой. Я спрашиваю: Почему? А Кристал: Реально домой?

Мы переодеваемся и оставляем все вещи сваленными в кучи.

Посмотрим, кто первой доберется до машины, только не бегом, говорю я, и мы срываемся с места. Выходим из «Джей-Си-Пенни» спортивным шагом, словно боремся с лишним весом, минуем ювелирки с бриллиантами, затем — по эскалатору, мимо киосков и стариков в массажных креслах. Я иду впереди и, бросив взгляд через плечо, вижу, что Марина находится в опасной близости, так что напрягаю руки, считаю «четыре-пять-шесть» и шагаю, шагаю. Мы прорываемся через «Бордерс», но, когда доходим до дверей, мне уже невтерпеж, так что я распахиваю их и срываюсь на бег. Кристал обгоняет меня и первая садится в машину, а Марина кричит сзади: Нечестно, ребята, так нечестно, вы нарушили

правила.

Внутри машины такое пекло, будто дьявол жарит грешниц; мы опускаем стекла и высовываем руки. Затем видим женщину; она сидит в машине прямо напротив нашей, в черном хиджабе, и роется в сумочке, может, ищет ключи. Глянув на нас, она бегло улыбается и роется дальше, но мы пялимся на нее, точно в зоопарке. Мы ничего не говорим, но понимаем, что все дело в ее платье и остальном, что показывают по телику, — будь она в джинсах или чем-то таком же обычном, мы и не взглянули бы на нее.

Кристал заводит машину и продолжает сидеть без движения, словно забыла, как водить.

Что-то не так с маминой машиной? говорит Марина. Я подаюсь вперед и просовываю голову между передними сиденьями, пытаясь понять, в чем дело.

Ты ведь знаешь Джорджа? говорит Кристал.

Какого Джорджа? говорит Марина.

Мелкого мазафаку, который принес в школу пистолет, говорит Кристал.

И что с ним? говорю я и начинаю махать рукой женщине, потому что и она нам машет, — может, потому, что мы все еще пялимся на нее. Марина тоже машет, и мы продолжаем махать, пока ее

машина не отъезжает.

Неважно, говорит Кристал и трогается задним ходом.

Когда я подхожу к дому, машина тети Фосталины как раз выезжает из гаража. Она опускает стекло и говорит, что едет в клинику «Шейдибрук», так что я забираюсь к ней, бросая назад школьную сумку. Тетю Фосталину периодически вызывают в «Шейдибрук», чтобы успокоить Чаку Зулу. Когда у него обострение, Чака Зулу грозит другим жильцам и персоналу, что достанет свой ассегай[56], якобы спрятанный в его комнате, и задаст им. Я видела его короткое охотничье копье; оно ненастоящее, но об этом никто не знает. Чака Зулу один раз показал мне его; это просто рисунок копья, который он хранит сложенным среди фотографий, сделанных в нашей стране во времена, когда он был маленьким мальчиком.

Когда безумие охватывает Чаку Зулу и лекарства, на которых его держат, перестают действовать, он отказывается говорить по-английски; и тогда Клодин, тихая приятная леди, управляющая клиникой, звонит тете Фосталине и просит при-

---

[56] Примечания: 56

Ассегай, или ассагай, — разновидность копья с железным наконечником, применявшегося у народов Южной и Юго-Восточной Африки. Обычная длина ассегая — около 2 метров.

ехать, поговорить с Чакой Зулу на нашем языке. Похоже, это единственное лекарство, которое ему помогает, но тетя Фосталина обнаружила, что в моменты таких приступов Чаку Зулу нужно не успокаивать, а выслушивать. Это такое сумасшествие, которое делает его очень разговорчивым, и тетя Фосталина берет меня с собой, потому что ей скучно слушать все это в одиночестве.

Сегодня мы паркуем машину на тихой улице и спешим сквозь раскаленную воздушную завесу к «Шейдибруку». Мы не успеваем позвонить, как дверь нам открывает светловолосый ухмыляющийся псих. Его зовут Эндрю. У него что-то не в порядке с головой, но при этом он очень умный. Два месяца назад, к примеру, за ним пришла полиция, потому что он, по их словам, взломал какие-то веб-сайты и запостил там свои нехорошие фотки. Тетя Фосталина проскальзывает мимо него и устремляется в подвал, к комнате Чаки Зулу.

Привет, говорю я Эндрю, потому что мне неудобно просто прошмыгнуть мимо, будто его не существует, хотя он и псих. В «Шейдибруке» всегда пахнет больницей, и я уже чувствую, как у меня сводит желудок.

Привет, Питер, говорит мне Эндрю. Есть сига-

рета? Он всегда задает мне этот вопрос, и я всегда качаю головой. Я уже не исправляю его, когда он называет меня Питером[57]. В комнате отдыха, где включен телевизор, я машу рукой незнакомой женщине. Она сидит рядом с ходунками и безразлично смотрит в пространство, словно в ожидании чего-то — возможно, ангела, который благословит ее. Я быстро отвожу взгляд; рядом с больными людьми меня всегда мучит чувство вины, потому что я ничего не могу для них сделать.

Чака Зулу, облаченный в свое туземное одеяние, стоит на кровати. Клодин мерит шагами подвал, заламывая руки.

Слава богу, вы пришли, шепчет она тете Фосталине. Не знаю, на сколько еще меня хватило бы, говорит она.

Все окей, я приехала, как только смогла, а вам не помешает отдохнуть, говорит тетя Фосталина.

Чака Зулу берет щит, поднимает над седой головой и кричит: Байет[58], приветствую тебя в моем краале, хочешь посмотреть мое копье? И

---

[57] Примечания: 57

Эндрю явно неравнодушен к Евангелиям: Эндрю (*англ. Andrew*) и Питер (*англ. Peter*) — это апостолы Андрей и Петр в англоязычной традиции.

[58] Примечания: 58

Байет (*коса, банту* Bayethe) — приветствие, распространенное в Южной Африке.

я с трудом сдерживаю смех. Я понимаю, он не в себе и все такое, но это что-то невообразимое. К счастью, на самом деле он не опасен. Чака Зулу спускается с кровати, с важным видом подходит к деревянному табурету — из тех, на каких старики сидят в Африке, — и садится под постером с изображением полуголой девушки-масаи, увитой бусами как ненормальная.

Быть в комнате Чаки Зулу — это как быть в музее памяти или типа того, чего только не висит у него на стенах: газетные вырезки с Нельсоном Манделой, вышедшим из тюрьмы, фотографии нашего президента тех времен, когда он только стал президентом и еще не облысел, фотографии Кваме Нкрумы, Кофи Аннана, большая фотография Десмонда Туту, фотографии Мириам Макебы, Бренды Фасси, Хью Масекелы, Лаки Дюбе, газетная вырезка с Кредо Мутвой, обрамленные фотографии Бебе Манги, Лелети Кумало, Вангари Маатай и так далее.

Семейные фотографии висят отдельно и занимают всю стену. В дни, когда он в своем уме, Чака Зулу рассказывает об этих людях, своих сыновьях, дочерях, племянницах и племянниках, внуках и внучках. Рассказывает, кто кем работает, что кому нравится, где они живут, об их мужьях и

женах, и я всегда удивляюсь, сколько всего он помнит, словно живет с ними со всеми. Он дал имена всем своим детям и внукам — их зовут Гезефи, Сиса, Нокутула, Нене, Николас, Макоси, Офелия, Дуглас, Сакиле, Иден, Дэви, Иэн; каждое имя он тщательно обдумывал и наконец сообщал по телефону.

Так я к ним прикасаюсь, поделился со мной однажды Чака Зулу, когда рассказывал об этих именах. Понимаешь, каждый раз, когда их зовут по имени, а они отвечают, я становлюсь невидимой рукой, которая касается их и называет своими, сказал он.

Я не знаю, каким точно сумасшествием страдает Чака Зулу; тетя Фосталина один раз говорила мне, но я уже забыла, потому что название такое сложное, но думаю, это гораздо лучше, чем я видела у некоторых. Однажды, когда мы возвращались после движа в Будапешт, какой-то полуголый псих преследовал нас до самого дома. А как-то на свадьбе, еще до нашего переезда в Парадайз, жених просто слетел с катушек, схватил бревно и начал всех дубасить, включая свою невесту. И лучше ему уже не стало; куда бы он ни шел, люди разбегались врассыпную.

Как они жили

А когда нас спрашивали, откуда мы, мы переглядывались и улыбались с застенчивостью юных невест. Нам говорили: Из Африки? Мы согласно кивали. А из какой части Африки? Мы улыбались. Не оттуда, где стервятники ждут, пока дети загнутся от истощения? Мы улыбались. Где доживают в среднем до тридцати пяти лет? Мы улыбались. Не оттуда, где диссиденты засовывают АК-47 женщинам между ног? Мы улыбались. Где люди бегают голыми? Мы улыбались. Оттуда, где все друг друга перерезали? Мы улыбались. Где старый президент подтасовал выборы, и людей пытали, и убивали, и толпами сажали в тюрьмы и все такое, и где все умирают от холеры… О боже, да, мы видели вашу страну; она была в новостях.

И когда эти слова слетали с их губ, как кирпичное крошево, мы снова переглядывались, и наши глаза давали течь. Наши улыбки таяли, словно туман, и мы плакали навзрыд; плакали по нашей благословенной несчастной стране. Мы плакали и плакали, а они жалели нас и говорили: Все окей… все окей, теперь вы в Америке. А мы

все рыдали, рыдали и рыдали, а они давали нам маленькие мягкие штуковины и говорили: Вот «Клинекс», держите. И мы брали эти мягкие штуковины и клали в карманы, чтобы рассмотреть потом, и рыдали дальше, рыдали, как вдовы, рыдали, как сироты.

В Америке мы увидели еды больше, чем видели за всю жизнь, и были так счастливы, что начали копаться в мусорных корзинах своих душ, выискивая там испачканные осколки Бога. Мы бросали его туда, еще когда были в своей стране, бросали в жуткие-жуткие моменты, когда нас мутило от голода, и думали: почему же он нас не пожалеет, как это? Думали: почему же он нас не услышит? Думали: как же так, мы его просим, просим и просим, но не получаем ни крошки, почему? И, ослепнув от гнева, мы забросили его подальше со словами: Уж лучше без Бога, лучше без Бога, чем жить вот так, молиться вот так о том, чего никогда не будет. Лучше без Бога.

Но потом, в Америке, при виде всей этой еды у нас перехватывало дыхание, и мы думали: подождите, на свете должен быть Бог. И от счастья и благодарности мы принимались выискивать его осколки и склеивать суперклеем, купленным в магазине «Все за доллар» всего за девяносто

девять центов, приговаривая: Теперь и мы на Бога уповаем, реально мы на Бога уповаем[59]; и снова начинали молиться. В «Макдоналдсе» мы поглощали бигмаки и уписывали жареную картошку, хлебая кока-колу из огромных стаканов. В «Бургер Кинге» мы видели вопперы и вопили. В «КФС» мы набрасывались на наггетсы. Мы шли в «Китайские буфеты» и поедали все, на что падал глаз, — жареный рис, курицу, говядину, креветки, — а если не знали названий, то просто тыкали пальцами и говорили: Нам *это*.

Мы жрали как свиньи, как волки, как воротилы; жрали как стервятники, как бродячие собаки, как монстры. Мы ели как короли. Ели, утоляя весь свой прошлый голод, за себя и за родителей, за братьев и сестер, за близких и за друзей, которые все еще оставались там. С набитыми ртами мы бормотали их имена, представляя их голодные лица и обветренные губы, — мы ели за тех, кто не мог быть с нами и есть за себя. И, наедаясь, мы несли наши набитые едой тела с достоинством слонов — видела бы нас в Америке наша страна, видела бы, что мы едим, как короли, в чужой стране.

---

[59] Примечания: 59

На Бога уповаем (*англ.* In God We Trust) — старинное выражение, с детства известное каждому американцу по долларовым банкнотам.

Как же Америка удивляла нас поначалу. Если ты была недовольна своим телом, ты могла пойти к доктору и сказать, к примеру: Доктор, я родилась не в том теле, сделайте мне красиво; доктор, мне не нравится этот нос, эти груди, эти губы. Мы смотрели на людей, отсылавших своих престарелых родителей подальше, чтобы о них заботились незнакомцы. Смотрели на родителей, которым не разрешалось бить собственных детей. Смотрели на все эти странные вещи, которых сроду не видели, и говорили: Что же это за страна такая, да что же это за страна?

Поскольку мы были не у себя дома, мы не могли говорить на своих языках, и поэтому, когда мы говорили, наша речь страдала. Когда мы разговаривали, наши языки чувствовали себя чужими в наших ртах и заплетались, как у пьяных. Поскольку мы не говорили на своих языках, мы говорили не то, что хотели; а то, что реально хотели сказать, застревало в нас, как в ловушке. В Америке мы не всегда находили слова. Только оставаясь наедине с собой, мы разговаривали своими реальными голосами. Только оставаясь наедине с собой, мы призывали лошадей наших языков, садились на них верхом и скакали выше небоскребов. И спускаться обратно нам никогда

не хотелось.

Как же трудно было попасть в Америку — труднее, чем пролезть через жопку иголки. Ради виз и паспортов мы умоляли, взывали, лгали, унижались, обещали, обольщали, подкупали — делали что угодно, лишь бы выбраться из страны. Чтобы купить паспорт и билет, Чака Зулу продал всех отцовских коров против воли старика. Персевирансу пришлось забрать из школы сестру Нецай. Нко проработала на ботсванских полях девять месяцев. Нозифо, так же как и Примроуз, Сиселокуле и Майдей, спала с этим толстым черным боровом, Банйилем Хозой, из паспортного отдела. Девушки раздвигали ноги, Банйиль получал их тело, а в головах у них была Америка.

Чтобы наш отъезд прошел удачно, старейшины посыпали табаком сухую землю, вызывая духов предков для нашей защиты. Но духи не спешили появляться из-под земли, приплясывая, как в стародавние года. Они еле ползли. Упрямились. Они были голодны. Они хотели крови, мяса и пшенного пива, хотели жертвоприношений и даров. Но нам нечего было им дать, кроме нескольких щепоток табака, абсолютно нечего. Так что духи просто смотрели на нас пересохшими глазами, словно матери без молока. И перешептывались:

И как они рассчитывают уцелеть в этой ’Мелике, в такой дали от могил предков?

Разве люди в ’Мелике не живут в страхе, страхе порока?

Разве не говорят, что там как в могиле, в этой ’Мелике, что уехать туда — все равно что заживо себя похоронить, потому что твой народ никогда уже тебя не увидит?

Не та ли это самая ’Мелика, куда угоняли черных сыновей и дочерей много, много лет тому назад?

Мы слышали все это, но пропускали мимо ушей, словно оно не имело к нам отношения. Нас это не касалось, это было не про нас; мы собирались в Америку. Собирались идти по следам угнанных черных сыновей и дочерей, да, мы собирались. А попав в Америку, мы доставали свои мечты, нежно смотрели на них, словно на новорожденных, и засовывали подальше; мы не планировали исполнять их. Мы никогда не стали бы теми, кем хотели стать: докторами, адвокатами, учителями, инженерами. Ни в какие колледжи нас не приняли бы, несмотря на то, что наши визы были студенческими. Мы с самого начала понимали, что у нас не будет денег на колледж, но подавали заявления на студенческие

визы, потому что это был единственный выход.

Вместо того чтобы учиться, мы работали. Наша карта социального страхования гласила: «Действительна для работы только с одобрения Ай-эн-эс[60]», но мы стискивали зубы и работали, нарушая закон; что еще нам оставалось? Что мы могли поделать? Мы или кто-то еще? А поскольку мы нарушали закон, мы стыдливо опускали головы; раньше нам не приходилось нарушать закон. Мы опускали головы потому, что перестали быть людьми; теперь мы были нелегалами.

Когда начинались дебаты о том, что делать с нелегалами, мы слушали, не дыша, не смеясь, не шевелясь. Мы слышали: американский экспорт, нарушение границ, война против среднего класса, вторжение, депортация, нелегалы, нелегалы, нелегалы. Мы прикусывали язык, пока не чувствовали вкуса крови, сидели как на иголках, боясь расслабиться, — да и как можно расслабиться, когда не знаешь, что с тобой будет завтра?

А поскольку мы были нелегалами и боялись, что нас раскроют, мы в основном держались особняком, друг за друга, сторонясь тех, кто не похож на нас. Мы не знали, что они подумают о нас, что

---

[60] Примечания: 60
INS — служба иммиграции и натурализации США.

они сделают, если узнают о нас. Мы не хотели их гнева, не хотели их любопытства, не хотели никакого внимания. Мы не смотрели им в глаза и отводили взгляды. Мы скрывали свои настоящие имена, а когда нас спрашивали, называли фальшивые. Мы выстроили горы между ними и собой, прокопали реки, высадили колючки — нам стоило таких усилий попасть в Америку, и мы не хотели потерять все это.

Когда работодателям велели проверять своих работников, мы обмирали. Мы вспоминали свою оставленную страну, подобие страны, влачащей жалкое существование за счет американских долларов и денег других стран, и кровь стыла в наших жилах. И когда на работе у нас спрашивали бумаги, мы разбегались, как вспугнутые куры, и устраивались на самые паршивые работы, где встречали других, множество других. Других с именами, словно взятыми из мифов, именами-головоломками, именами, которых сроду не слышали: Вирджилио, Баламугунтхан, Фахим, Абдулрахман, Азиз, Баако, Дэ Хен, Усман, Киматсу. Когда мы не справлялись с таким множеством странных имен, мы обращались к ним по их странам.

И как ты только это делаешь, Шри-Ланка?

Мексика, ты идешь или что?

Это правда, Индия, что ты продала почку, чтобы приехать в Америку?

Ребята, дайте Чаке Зулу передохнуть, он ведь уже старый, говорю я.

Мы знаем, ты презираешь эту работу, Судан, но привыкай, будь мужиком.

Давай, Эфиопия, двигай, двигай, двигай; Израиль, Казахстан, Нигер, братья, вперед!

Другие говорили на языках, которых мы не понимали, почитали богов, которых мы не знали, ели такое, к чему мы не притронулись бы. Но, как и мы, они оставили позади свою родину. Они открывали свои бумажники и показывали нам выцветшие фотографии матерей, на чьих морщинистых лицах мы видели ту же тревогу, что и на лицах наших матерей; братьев и сестер, в чьих потухших глазах мы видели несбывшиеся мечты, как и у наших братьев и сестер; отцов, покинутых и опустивших руки, как и наши отцы. Мы никогда не видели их стран, но узнавали почти все на этих фотографиях; мы знали их лучше, чем думали.

А на каких работах мы работали, боже-боже-боже, на каких работах! С нищенской оплатой. С непомерными нагрузками. Такая работа обглады-

вала наше достоинство до костей, пожирала мясо, высасывала костный мозг. Мы брали раскаленные утюги и утюжили нашу гордость. Мы драили туалеты. Собирали табак и фрукты под палящим солнцем, пока не высовывали языки, задыхаясь, как загнанные гончие. Работали на скотобойнях, резали глотки животным, сливали кровь.

Мы работали с опасными машинами, задерживая дыхание, будто крокодилы под водой, и думая только о деньгах и никогда о жизни. Зверская машина, отхватившая три пальца Судану на левой руке, убила Адаму. Мы резались, работая с мясом; получали кожные болезни. Мы дышали плохим воздухом, пока наши легкие не начинали рокотать. Эквадор, работавший на крыше, сорвался с сорокового этажа, сломал позвоночник, но кричал только одно: ¡Мис ихос! ¡Мис ихос[61]! Мы болели, но не шли в больницы, не могли пойти. Любую боль мы глотали, как горькую пилюлю, любой страх выпивали, как любовное зелье, продолжая работать и работать.

Каждые две недели мы получали зарплату и отправляли деньги домой через «Вестерн Юнион» и «МаниГрам». Мы покупали еду и одежду своим

---

[61] Примечания: 61
Mis hijos — мои дети (*исп.*).

родным, оставшимся дома; оплачивали школы детям. Мы получали сообщения с такими словами, как «голод», такими словами, как «помогите», такими словами, как «кунзима»[62], и посылали деньги. Когда нас спрашивали: Вы, ребята, так вкалываете, почему вы все так вкалываете? — мы улыбались.

Время от времени мы слышали по телефону голоса родителей, дедушек и бабушек, робкие голоса, говорившие об их нуждах. Они давно перестали нас обеспечивать; теперь мы стали их кормильцами. Наши разросшиеся семьи обращались к нам с просьбами, и мы работали, работали, как ишаки, работали, как рабы, работали, как сумасшедшие. Когда мы уставали, нам говорили: Вы ведь в Америке, где все при деньгах, мы все видим по телевизору, пожалуйста, не отказывайте нам. Мадода, вакомана[63], как мы работали!

Мы никогда не видели такой чудовищно огромной страны — словно вобравшей в себя множество стран: Мичиган, Техас, Нью-Йорк, Атланту, Огайо, Канзас, Колумбию, Калифорнию и множество других. Мы ездили повсюду, фоткали все,

---

[62] Примечания: 62
Kunzima — трудности (*зулу, коса*).

[63] Примечания: 63
Madoda — мужи (*зулу*), vakomana — невольницы (*шона*).

что можно, и отсылали домой, чтобы нас видели в Америке. Мы фоткались перед Белым домом; фоткались рядом с Леди Свободой[64], словно она наша бабушка; фоткались на Ниагарском водопаде, на Таймс-сквер; фоткались с дельфинами во Флориде, фоткались в Гранд-каньоне — мы мотались повсюду, фоткали-фоткали-фоткали и отсылали домой, хвалясь страной, которая никогда не будет нашей.

Когда же наши домашние смотрели эти фотки и хотели приехать, чтобы самим повидать Америку, мы говорили: Конечно, буянини, чиуяи[65], вам тут будут рады. Мы высылали им деньги на визы и билеты, и они приезжали. Приезжали в основном молодые, оставляя стариков и детей. Приезжали толпами, бросая обломки нашей страны. Мы не думали о том, чтобы склеить эти обломки воедино, мы думали только о том, чтобы уехать, бросить все, сделать ноги, сбежать — так или иначе. Вырваться.

А когда они приезжали к нам в Америку, голодные, опустошенные и полные надежд, мы

---

[64] Примечания: 64

Леди Свобода (*англ.* Lady Liberty) — так американцы называют статую Свободы.

[65] Примечания: 65

Buyanini, chiuyayi — о чем разговор, приезжайте (*шона*).

крепко обнимали их и вели в дома, которые нам не принадлежали. Мы нюхали их волосы и одежду и жадно расспрашивали о новостях из нашей страны — новостях больших и маленьких, любых новостях. Мы просили описать, как пахнет земля перед самым дождем и после дождя, как летучие муравьи разлетаются от земли, словно фейерверки.

Мы спрашивали: А здание мэрии все такое же? А Тредголд-билдинг? А приют Ренкини? А жакарандовые деревья вдоль городских улиц — они по-прежнему цветут так жгуче-фиолетово? А этот чокнутый Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро никуда не делся? Он молился за меня, чтобы я получила визу, можешь представить? А как там Главная улица — течет рекой, как и раньше? А тот слепой попрошайка перед супермаркетом «Спар», он все так же сидит и поет: Табат исифамбано уланделе[66]? Мы расспрашивали приезжих обо всем этом и смотрели им в рот, когда они говорили; нам хотелось поймать каждое драгоценное слово, каждое чувство.

А потом наступало время, когда мы звонили домой, и нам отвечали незнакомые юные голо-

---

[66] Примечания: 66
Thabath' isiphambano ulandele — возьми крест и следуй за мной (*коса*).

са, и мы говорили: А вы кто? И они отвечали: Я сын Табани, Лунгиле; я дочка Наярай, Триша; я второй сын Прэйера, Гарикайи. Мы слушали этих незнакомцев и говорили: Господи, Табани уже стал отцом? У Наярай уже дочка? И Прэйер стал отцом? Когда же это случилось, когда у всех этих детей появились дети? Вот как шло время. Оно летело, а мы его не замечали. Мы не приезжали домой в гости, потому что у нас не было бумаг, по которым нас пустили бы обратно, и мы сидели смирно, понимая: если уедем, то не сможем вернуться в Америку. Мы оставались, как в тюрьме, которую сами выбрали и полюбили; тюрьма неплохая. А когда в нашей стране становилось еще хуже, мы лишь крепче держались за свои кандалы и говорили: Мы из Америки ни ногой, нет, ни ногой.

А потом у нас самих стали появляться дети. Мы берегли их американские свидетельства о рождении. Мы не называли их своими именами или именами наших родителей; мы боялись, что тогда они не смогут произнести свое имя и их друзья и учителя не будут знать, как к ним обращаться. Мы давали им имена, которые сделали бы их обычными американцами, имена, ничего для нас не значащие: Аарон, Джош, Дэна, Кори,

Джек, Кэтлин. Когда у нас рождались дети, мы не закапывали их пуповины, чтобы привязать их к земле, потому что не могли назвать эту землю своей. Мы не давали им дышать над дымящимися травами, чтобы сделать сильными, не вешали амулеты на их пояса, чтобы защитить от злых духов, не варили пиво и не сыпали табак на землю, чтобы известить предков об их появлении. Вместо этого мы улыбались.

А когда наши родители напоминали нам по телефону, что прошло уже много-много времени, что они стареют и им надо повидаться с нами, надо увидеть своих внуков, мы говорили: Мы приедем, мама, сиябуя, баба; мы приедем, гого, тирикуя, секуру[67]. Мы не хотели говорить им, что у нас все еще нет бумаг. А когда они теряли терпение и проклинали Америку, этого алчного монстра, за то, что он глотал их детей, глотал сыновей и дочерей их земли и отказывался изрыгать обратно, мы говорили: Мы очень скоро приедем, на следующий год приедем. Следующий год приходил, и мы говорили: На следующий год. Когда приходил следующий год, мы говорили: На следующий год уж точно. А когда следующий год

[67] Примечания: 67

Siyabuya Baba… Tirikuuya Sekuru — мы вернемся, отец… мы приедем, дедушка (*шона*).

приходил точно, мы говорили: На следующий год реально приедем. А когда следующий год приходил реально, мы говорили: Мы приедем, вот увидите, наберитесь терпения. И наши родители ждали и все понимали, они понимали, что мы не приедем.

Они ждали нас до самой смерти, сжимая в высохших руках фотографии, на которых мы стоим рядом с Леди Свободой, хороня в своих сердцах потерянных сыновей и дочерей, не спуская старческих глаз с неба и высматривая фуламатшины, которые принесут их потерянных сыновей и дочерей. Мы не могли приехать на их похороны, потому что у нас все еще не было бумаг, и оплакивали их издалека. Мы закрывались у себя, включали музыку, чтобы не беспокоить соседей, и выли, выли, выли, катаясь по полу.

А когда умирали родители, мы говорили себе: Больше у нас нет дома, нам не к кому ехать в страну, которую мы оставили когда-то. Мы убеждали себя, что теперь у нас есть только наши дети. А эти дети вырастали, и нам приходилось щуриться, чтобы разглядеть в них что-то свое. Они не говорили на нашем языке, их речь была нам неродной. Когда же они хулиганили, мы лишь просили: Нет, не надо так, стоп, *тайм-аут*.

Однако это не то, чего мы хотели. Чего мы хотели, так это взять плетку и — караба, караба, караба[68]. Мы хотели бы отхлестать их до крови и преподать им красные, мокрые уроки, которые они усвоят на всю жизнь, но мы боялись ареста — за то, что воспитываем детей, как нас воспитывали родители.

Когда наши дети достаточно подрастали и мы рассказывали им о нашей стране, они не упрашивали нас поведать истории той земли, которую мы оставили. Они садились за свои компьютеры и гуглили-гуглили-гуглили. А нагуглив все, что надо, смотрели на нас со смесью жалости и ужаса и говорили: Божечки, вы реально оттуда приехали? Они не хотели слышать истории, которые нам рассказывали бабушки у деревенских костров, истории «Булалусебенкоси»[69], и о том, как кролик лишился хвоста, и о «Цура на Гудо»[70]. Они не желали иметь ничего общего с теми ужасами, от которых мы сбежали.

Мы со многим смирялись, пока росли наши

---

[68] Примечания: 68
Karabha — хлестать (*зулу, шона*).

[69] Примечания: 69
Buhlalusebenkosi — «О жизни короля» (*коса*).

[70] Примечания: 70
Tsuro na Gudo — «Заяц и Павиан» (*шона*).

дети, со многим, смущавшим нас потому, что нас растили иначе. Но мы смирялись и говорили: За каждое путешествие надо платить, и это наша плата за то долгое путешествие, которое мы совершили много лет назад. Когда наши дети взрослели, они не спрашивали нашего одобрения, выбирая себе жену или мужа. Мы не получали выкуп за невесту; не получали подарков. На их свадьбах мы не проливали пиво на землю и не сыпали табак, не били в барабаны, вознося хвалу предкам, — мы улыбались.

Наши дети заводили свои семьи, и мы не говорили им, что делать, как растить детей. Они редко приходили повидать нас; они были заняты работой и своей новой жизнью. Они не присылали нам денег, как мы — нашим родителям. Когда мы старели, они не упрашивали нас жить с ними. Когда мы совсем остарели, они поместили нас в эти приюты, где о нас заботятся чужие люди, люди, оставившие свои страны точно так же, как мы когда-то оставили свои много лет тому назад.

Здесь нам снятся родители. Они не прикасаются к нам, не говорят с нами; только окидывают взглядами, которых мы уже не помним. Когда мы хотим подойти к ним, нас окружают океаны, которые нам не пересечь. Мы тянемся к ним,

стенаем, упрашиваем, умоляем; без толку. И всегда после таких снов мы хватаемся за зеркала, а глаза наши изранены; мы видим себя сквозь жгучую боль.

Когда мы умрем, наши дети не будут знать, как надо стенать, как оплакивать нас. Они не будут убиваться от горя, не будут повязывать на руки черную ткань, не будут проливать пиво на землю и сыпать табак, не будут петь до хрипоты. Не положат наши тарелки и чашки на наши могилы; не станут провожать нас в дальний путь с ветвями мфафы. Мы отбудем в край мертвых нагими, без всего необходимого для того, чтобы войти в замок наших предков. Поскольку мы умрем не как положено, духи не станут приветствовать нас, и мы будем ждать, ждать и ждать — вечно парить в воздухе, словно флаги невоспетых стран.

Моя Америка

Когда я не драю туалеты и не упаковываю продукты, я копаюсь в большой тележке, сортируя пустые бутылки и жестянки с названиями вроде «Фэйго», «Пепси», «Доктор Пеппер», «Севен-ап», «Рут бир», «Миллер», «Будвайзер», «Хайнекен». Их собирают у входа и привозят сюда, где мне надо выбирать жестянки и складывать в высокие ящики, стоящие рядами вдоль стены. Когда ящики заполняются, я беру уже заполненные жестянками пластиковые мешки, завязываю их и добавляю к красочной горе. Стеклянные бутылки надо собирать в картонные ящики и ставить отдельно.

Ты здорово наловчилась с этим; спорить готов, если я завяжу тебе глаза, ты все равно рассортируешь все это добро. Я поднимаю взгляд от тележки на Джима, менеджера, волосатого коротышку, который ухмыляется от двери своего офиса. В руке у него сигарета, а между плечом и ухом зажата телефонная трубка. Я не улыбаюсь Джиму, хотя он, вероятно, ожидает этого от меня, просто продолжаю делать свое дело. Я могу запулить

жестянку от «Пепси» в ящик в конце помещения, отправить «Фэйго» куда-нибудь посередине и вслед за этим послать «Нэчурал лайт» в другой конец, не глядя на этикетки.

Я закончила с жестянками и принимаюсь за бутылки, когда из-за моей спины, от другого входа, появляется эта женщина. Я смотрю, как она проходит мимо, даже не глядя в мою сторону, словно я пустое место. Она так виляет бедрами, что можно подумать, это Бейонсе или, может, Ким Кардашьян, а не загорелая зеленоглазая щепка на черных шпильках. Когда она подходит к офису Джима, тот поднимает телефонный шнур, она проскальзывает под ним, исчезает внутри, и Джим захлопывает за ней дверь. Она ему даже не жена; я знаю, потому что жену видела, она всегда приходит с их мелким — рыжим, похожим на комара в трико.

Что-то выпадает из бутылки «Миллера» мне на руку; я все еще стою и смотрю на дверь Джима, думая о том, чем они там занимаются, и чувствую, как что-то ползет вверх по руке. Опустив взгляд, я тут же роняю «Миллер» себе под ноги, и по грязному полу разлетаются осколки. Когда Джим выскакивает из офиса выяснить, что случилось, я уже стою на столе между измельчителем для

коробок и микроволновкой и кричу.

Это всего лишь таракан, говорит Джим таким голосом, словно это действительно обычный таракан, и одаривает меня недовольным взглядом.

Теперь этот монстр пристроился рядом с жестянкой от «Хайнекена» и подслушивает нас. Он просто гигантский, темно-коричневый панцирь поблескивает, как после спа-салона. Джим поднимает ногу, чтобы раздавить его, и я закрываю глаза. Когда я их открываю, он уже смахивает останки в ведро и несет к большому контейнеру у входа.

Ну ладно, давай не отлынивай, говорит он, возвращаясь. В Африке у вас, что ли, нет тараканов? Джим всегда действует мне этим на нервы: он всегда говорит так, словно Африка — единая страна, хотя я ему объясняла, что это целый континент, на котором пятьдесят с чем-то стран, а я, кроме своей страны, почти нигде не была и не могу говорить за всю Африку.

Ты просто прикидываешься, я же знаю, ты там навидалась всякого дерьма, бросает он на ходу через плечо. Я открываю рот, собираясь сказать, чтобы он оставил Африку в покое, но он уже исчезает в офисе и громко хлопает дверью, поэтому я просто поднимаю средний палец и слезаю со

стола.

Пивные бутылки хуже всего. В них какой только дряни не увидишь. Следы крови. Всякий мусор. Окурки в затхлом пиве цвета мочи, а один раз там плавал использованный презик. Когда я только начала здесь работать, еще в десятом классе, меня рвало в каждую смену.

Дарлинг, в торговый зал; Дарлинг, пожалуйста, в торговый зал, блеет потрескивающий интерком. Повторять мне не нужно: я готова паковать продукты или мести пол, лишь бы оказаться подальше от этих поганых бутылок. Я сваливаю «Будвайзеры», которые уже взяла, обратно в тележку и направляюсь к раковине вымыть руки. Я выдавливаю тонну мыла и чуть не обвариваю руки кипятком, стараясь смыть эту грязь. Проходя мимо ужасно холодного мясного отдела, я улыбаюсь работающему там парню, который кричит мне что-то на своем языке и взмахивает окровавленным ножом. Я притормаживаю возле синей вращающейся двери с табличкой «Только для персонала», затягиваю фартук на спине и вхожу в ярко освещенный магазин, где меня тут же обдает прохладой.

Через несколько часов я, совершенно разбитая, жду на жаркой парковке, когда меня заберет

дядя Коджо. Чуть в стороне от главного входа на бордюре сидит Меган, разговорчивая кассирша; она набирает сообщение бойфренду и бормочет, что он должен был приехать за ней десять минут назад, что она бросит этого беспонтового говнюка и все в таком духе. По улице проносятся две полицейские машины, завывая сиренами; теперь, увидев в квартале полицейскую машину, я даже не удивляюсь. На той стороне улицы, в парке с искусственной травой, «захватчики»[71] захватили очередную территорию и размахивают плакатами. Впервые увидев их симпатичные палаточки и столики, заваленные едой, я посмеялась над тем, как они пытаются показать, будто что-то знают о страданиях.

Парковка почти пустая, если не считать большого синего фургона Джима, пары машин и красного мотоцикла. В мусорном контейнере роется в поисках бутылок старый ямаец со зверскими дредами, через плечо у него перекинут черный мусорный пакет, на спине рубашки едва виднеется золотая голова льва. Когда он заходит

[71] Примечания: 71

Occupy (от *англ.* to occupy — оккупировать, захватывать) — общее название протестных движений против экономической или социальной несправедливости, состоящее в захвате общественных зданий или иных объектов в течение длительного времени.

в магазин, весь такой чистый, разглагольствуя мягким голосом «растафари[72] это, растафари то» и улыбаясь яркой-яркой улыбкой, вовсе не подумаешь, что он ищет бутылки в мусоре; здесь не нужно быть чокнутым, чтобы заниматься чем-то подобным.

Поверить не могу, эта тощая сука вякала сегодня из-за того, что меня отпустили пораньше, говорит Меган, убирая мобильник в сумочку. Судя по ее молчанию, она ждет, чтобы я что-то сказала, и я говорю, хотя и знаю, о ком идет речь: Какая тощая сука?

Тереза эта.

Хм, говорю я.

Слышала ее? Что ей надо забирать больного сына и все такое, типа, эй, я тоже хочу домой.

Хм, говорю я.

И ведь этот клоун Джим был готов и ее отпустить, потому что хочет к ней в трусы залезть, говорит она.

Хм, говорю я.

То есть она тут без года неделю, а уже просит поблажек. Кто так делает?

---

[72] Примечания: 72

Растафари — монотеистическая авраамическая религия, возникшая из христианства на Ямайке в 1930-х годах и приведшая к образованию музыкального стиля регги в 1960-х.

Хм, говорю я. Иногда я вообще не заморачиваюсь, подбирая нормальные слова для разговора. В этом нет необходимости; некоторым людям достаточно, чтобы их просто слушали. Две полицейские машины едут мимо нас обратно; сирены выключены, и на заднем сиденье каждой — по черному парню.

Я здесь уже четырнадцать лет, и ни одна новенькая не намылится домой раньше меня. Вики можно уйти первой, она здесь уже двадцать лет, и с ней у меня все ровно. Но, кроме нее, я никому не спущу, черта с два. У меня старшинство, понимаешь, о чем я? Я не понимаю, но все равно киваю. Телефон Меган гудит, она роется в сумочке и выуживает его. На землю падает красная карточка. Она ее не замечает, а мне не хочется открывать рот; просто меня выматывает эта ее болтовня. Я смотрю, как она читает сообщение, вскинув брови.

Сукин сын, бормочет Меган. По ее искривленному лицу и тому, как она молотит пальцами по экрану, я понимаю, что она набирает что-то гневное. Затем я мысленно переношусь в будущее и вижу Меган уже старую и седую: она склоняется над кассой, близоруко щурясь, периодически встает и шаркает за главный прилавок, чтобы

принести кому-нибудь лотерейные билеты или сигареты. На меня находит такое странное чувство, которое я не могу объяснить, но мне почти хочется лечь и начать оплакивать Меган.

Затем я вижу уже не Меган, а себя, склонившуюся над тележкой с бутылками. Мое лицо, сморщенное от старости, напоминает мятую жестянку, голова моя словно припорошена снегом. Мне приходится тащиться до самых ящиков, потому что я уже такая дряхлая, что не могу ничего туда добросить. Кто-то трогает меня за плечо, и я подскакиваю. Обернувшись, вижу Джима, он стоит и ухмыляется. Он то и дело трогает меня, типа настолько хорошо меня знает, и мне это не нравится.

Напугал я тебя, а? говорит он, и улыбка его расползается до ушей. Я не признаюсь, что меня напугали собственные фантазии.

Хочешь выйти в эти выходные? Брайан сейчас позвонил и отказался без всяких объяснений, говорит Джим. В голове я все еще вижу себя старую с этими бутылками, так что мысленно говорю «нет», а потом слышу, как говорю «да». Сейчас лето, и надо хвататься за любые смены; осенью я начну учиться в общественном колледже, и тетя Фосталина говорит, что необходимо отложить

как можно больше денег. Не знаю, послушать ее — так колледж для иностранных студентов настолько дорогущий, будто мы пытаемся купить страну или типа того.

Классно, пойду впишу тебя в график, говорит он и поворачивается ко входу в магазин. Но останавливается в дверях.

Знаешь что, Дарлинг? Ты классная девчонка. Не такая, как другие; ты отличаешься от них, говорит Джим. Двойные двери открываются и закрываются за ним, проглатывая его, как пасть.

Ну да, он прав, говорит Меган. Она опять убрала телефон и теперь просто сидит, скрестив ноги в лодыжках, курит и смотрит на проезжающие машины.

То есть ты такая же, как другие девчонки, но при этом отличаешься. В тебе не столько дерьма. Это африканская тема, да? Моя кузина встречается с этим парнем с одного такого африканского островка, и он просто милашка. Не то что этот сукин сын, который даже не может заехать за мной, как обещал, говорит она и пинает сумочку.

Хм, говорю я. Меган я вообще не слушаю; я думаю о том, что, будь у меня выбор, то не стала бы работать с этими погаными бутылками. Когда тетя Фосталина впервые заговорила со мной о

работе, я рассмеялась.

По-твоему, это смешно? сказала она.

Я даже не взрослая, для чего мне работать? сказала я. Помню, она не ответила; она сидела за кухонным столом, потягивая чай ройбуш, и просматривала счета, а брови были такие нахмуренные, точно Фрида Кало нарисовала их, перед тем как умереть.

Я знаю, что мы не поедем сразу домой, и не спрашиваю, куда мы едем. После того как Ти-Кея отправили в Афганистан, дядя Коджо первое время был в порядке, а потом — нет. Теперь у него эта тема с поездками — с тем, чтобы быть в дороге; он садится за руль с таким настроем, словно хочет открыть Америку. Он ходил к доктору, и тот ему сказал взять отпуск, что он и сделал, и слетать домой, чего он сделать не смог; несмотря на то что дядя Коджо учился в колледже, прожил здесь двадцать два года и работает, а его сын Ти-Кей родился здесь и все такое, у него до сих пор нет бумаг. Поэтому лучшее, что он может, — это ездить повсюду в машине, иногда на малые дистанции, иногда на большие, и теперь мы зовем его за глаза Васко да Гамой.

Выехав с парковки, мы едем по Главной улице. Мы едем по ней какое-то время, мимо людей,

которые сидят на своих крылечках и глазеют без всякого выражения на дорогу, как когда-то взрослые, ожидавшие НПО в Парадайзе; мимо детворы, собравшейся посередине улицы, словно козы, ищущие воду, — мальчишки без рубашек, кожа их отливает всеми оттенками черного и коричневого, джинсы спущены, демонстрируя яркие труселя; мимо девчонок, шагающих куда-то с таким видом, словно их ждет нечто получше этих суровых жарких улиц; мимо ребят постарше, стоящих под люто-зелеными деревьями, никогда не приносящими плодов.

Вместо того чтобы свернуть на Третью улицу, которая привела бы нас домой, Васко да Гама поворачивает на Линкольн. Я смотрю в зеркальце заднего вида, как удаляется наш квартал; у дощатых домов такой вид, словно они рухнут на землю и завоют, как только мы скроемся из виду. Машина сбрасывает скорость из-за всех этих колдобин. Мы все едем и едем по Линкольн-стрит, и я мысленно пою: Кто открыл путь в Индию? Васко да Гама! Васко да Гама! Васко да Гама! Но когда Васко да Гама велит мне замолчать, я понимаю, что пела вслух. Я прекращаю петь как раз в тот момент, когда он резко виляет, чтобы не сбить питбуля, который бродит сам по себе.

Теперь мы едем медленно, мимо старых многоквартирных домов по левой стороне и зарослей сорняков. Справа от нас — бейсбольное поле, и белые дети в полосатой синей форме бегают туда-сюда, бросая и ловя мяч. Взрослые стоят группками, глядя на них, ряды машин окружают маленькое поле, словно зубы. Я смотрю на них в зеркальце заднего вида, и когда они исчезают, отмечаю, что мы едем через какие-то джунгли: в высокой траве тонут раздолбанные старые машины, заброшенные старые здания с выбитыми окнами, провалившимися крышами и крошащимися стенами. Умей эти стены говорить, здания стали бы заикаться, не в силах вспомнить свои имена.

Я совсем не ожидаю никого увидеть в этих джунглях, и вдруг появляется эта женщина. Васко да Гама тоже удивлен, он резко тормозит, и нас бросает вперед. Мы смотрим на нее, высокую и худую, одетую в черную кожаную юбку в обтяжку и красную майку. Она шагает к нам, виляя бедрами, словно только нас и ждала. Васко да Гама опустил стекла, и жара, льющаяся снаружи, окутывает нас душным одеялом.

Женщина заглядывает в водительское окно, и мне кажется, будто она вошла в машину и на-

полнила ее еще большим жаром. Она говорит: Привет, радость, и я не знаю, кому она это — мне или Васко да Гаме. В ее больших глазах столько усталости, словно она в любой момент может упасть и заснуть. Я не могу решить, красивая она или нет, но она ухожена: подведенные брови, светло-красные губы, лак на ногтях подобран в тон топика.

Есть четвертак? говорит она, ни к кому не обращаясь, и мне интересно, что она будет делать с четвертаком в таком месте, что ей даст этот четвертак. Голос у нее хриплый, словно она пела на вершине Фамбеки.

Затем она смотрит на меня и говорит: Ты такая милая, как тебя зовут, конфетка? Когда я отвечаю, она улыбается, и вот когда она улыбается, я вижу, какая она красивая, реально-реально красивая. Затем происходит нечто странное — она принимается бормотать мое имя, типа молится. И когда Васко да Гама протягивает двадцать долларов, она их даже не берет — просто стоит и повторяет раз за разом: Дарлинг, Дарлинг, Дарлинг, — как ненормальная. Меня это начинает напрягать, и я вздыхаю с облегчением, когда дядя Коджо отъезжает. В зеркальце заднего вида она похожа на ощипанную курицу.

Когда мы приезжаем домой, тетя Фосталина не спрашивает, где мы были. Она встает с дивана и идет на кухню, где ее ждут рис, бобы и рыба. С недавних пор она взялась готовить — из-за этой проблемы с Васко да Гамой. Дело в том, что после ухода Ти-Кея дядя Коджо перестал есть, и сперва тетя Фосталина смеялась и говорила на нашем языке: Индода изва нгебачи лайо[73]. Но когда Васко да Гама начал терять вес, тетя Фосталина нашла в интернете рецепты из его страны, потому что только такую еду ей удается в него впихнуть.

Я беру свой макбук и открываю интернет; Васко да Гама берет пульт и принимается переключать каналы. Что хорошо — он больше не смотрит этот ужасный футбол, где здоровые мужики носятся и сбивают друг друга с ног из-за маленького мячика. Но что плохо — Васко да Гама смотрит теперь только войну: солдаты бомбят какие-то объекты, солдаты ходят с большими автоматами по улицам, солдаты ползают по земле, солдаты что-то взрывают, солдаты сносят дома, солдаты в больших старых тачках тащатся куда-то, от солдат уворачиваются дети, играющие на улице,

[73] Примечания: 73
Indoda izwa ngebhatshi layo — все свое ношу с собой (*коса*).

как всякие дети.

Но я знаю, что Васко да Гама на самом деле ничего этого не видит, он занят тем, что всматривается во все эти лица в поисках Ти-Кея, даже в симпатичные лица афганских мальчишек. Тем временем Ти-Кей улыбается своей кривой улыбкой с фотографии, стоящей на каминной полке, как будто ему нравится тревога Васко да Гамы, как будто он вот-вот рассмеется и снимет армейскую форму, которая ему даже не идет.

Когда Ти-Кей сказал, что вступает в армию, я даже не подумала, что он это всерьез. Он просто пришел как-то раз, когда мы все ели спагетти, и сказал: Я вступаю в армию. Помню, как Васко да Гама спросил: Чего ты сказал? Помню, как Ти-Кей посмотрел на него с таким видом, словно кто-то сказал ему, что он мужчина или типа того, и повторил: Я сказал, что вступаю в армию. Помню, как Васко да Гама спокойно встал, словно собрался в ванную, но вместо этого залепил пощечину Ти-Кею, реально так. Помню, какой громкий получился звук, как если бы в руке у Васко да Гамы был динамит.

Вытирание пыли занимает уйму времени, потому что здесь тьма вещей, с которых надо вытереть пыль, а я одна. И кроме того, этот дом

просто огромный: сперва нижний этаж, потом второй этаж, потом третий. Моя проблема в том, что реально мне хочется не наводить чистоту, как положено, а разглядывать всякие предметы: большое пианино, странный аквариум с цветными рыбками в тон мебели, высокие книжные шкафы, заставленные рядами и рядами непрочитанных книг, фигурки Будды, маски, разные чудные статуэтки на нижнем этаже, картины и арт-объекты, длинные диваны, камин.

Потом там еще кухня со множеством стоек, крутым холодильником, духовкой и разными гаджетами. Витые лестницы, наверху — диваны, длинные телевизоры и снова гаджеты, несколько спален с интересной мебелью и встроенными ванными, собачья спальня с отдельным гардеробом, заполненным собачьей одеждой и прочими штуками, комнаты, набитые туфлями и туфлями, комнаты, в которых только одежда, спортзал с массой тренажеров. Не знаю, сколько в этом доме комнат и сколько человек в нем живут, но, будь у меня такой дом, я бы из него вообще не выходила.

Женщина, которая здесь работала, Эсперанца, уехала в Мексику повидать больную маму — и не вернулась, когда должна была, поэтому я делаю

ее работу, пока они найдут кого-нибудь еще. Хозяин дома Элиот — бывший босс тети Фосталины. Тетя Фосталина говорит, что, когда только приехала в Америку, днем она ходила в школу, а по вечерам работала в отелях Элиота, убирала номера вместе с людьми из Сенегала, Камеруна, Тибета, с Филиппин, из Эфиопии и других стран. Она любит повторять, что у них там была организация паршивых Объединенных Наций.

Две недели назад Элиот позвонил тете Фосталине и спросил, нет ли у нее на примете надежного человека, и она сказала, что есть, имея в виду меня, а потом предупредила, чтобы я даже не думала что-нибудь там тронуть, так как там везде скрытые камеры. Когда я не работаю в магазине, я должна приходить сюда, хотя меня не радует мысль убираться в чужом доме, подбирать за кем-то вещи, — все же, по моему представлению, я не за этим приехала в Америку.

После того как я вытерла пыль с очевидных предметов, собрала носки, футболки, нижнее белье, полотенца и журналы, разбросанные повсюду, отчистила все ванные и стойки, застелила кровати и пропылесосила, я иду на кухню и загружаю грязную посуду в посудомойку. Пару часов спустя, когда я уже переделала почти все,

что положено, и протираю кухонные столешницы, открывается дверь и входит Элиот с тощей девушкой; я впервые вижу ее, но думаю, что это его дочь Кейт. За ними семенит Тити, чумовая собачонка в розовом кожаном жакетике и с желтой банданой на шее.

В другой раз я бы притворилась и сказала «у-у-у, какая милота», как положено в подобной ситуации, но сегодня даже не пытаюсь, потому что это уже слишком, и просто делаю в точности то, что считаю правильным, — качаю головой. То есть это что-то с чем-то. В следующий раз, думаю я, эта собачонка войдет с сережками и сумочкой, в которой будут лежать айпод и помада. Я смотрю, как она нарезает круги по дому, будто одержимая. Наконец она принимается кружить около моих ног, обнюхивает меня, трясет хвостиком и заглядывает мне в лицо, словно мы говорим на одном языке, но я зыркаю на нее выразительно и мысленно говорю: Нет, собачка, ты меня совсем не знаешь.

Собачка стоит на месте, а я смотрю на нее спокойно, давая понять, что, как бы она ни старалась, я никогда не стану дружить с животным, пусть даже у этого животного своя спальня, розовая кровать и шкаф с ящиками, набитыми дорогой

одеждой и поводками. Наконец собачка отчаливает, и я стою, довольная собой, решив, что донесла до нее свою мысль, но очень скоро она снова тут как тут, на этот раз с желтой резиновой уткой во рту. Она бросает ее мне под ноги и поднимает умоляющий взгляд. Когда я никак не реагирую, она тычется головой в мою левую ногу; я вздрагиваю и напрягаю ногу, подавляя желание пнуть собачку. Я с тобой не вожусь, говорю я мысленно и принимаюсь протирать столешницы, хотя уже вымыла их.

Эгей, да тут красота, говорит Элиот, входя на кухню. Когда он говорит «тут», получается «тють»: Тють хорошо. Тють пицца в холодильнике. Он бросает на столешницу ключи, открывает холодильник, выуживает оранжевую бутылку с минералкой, откручивает крышечку и кидает ее в мусорку у стены напротив. Промахнувшись, пожимает плечами и принимается пить воду из горлышка, двигая кадыком с каждым глотком. Затем рыгает и ставит бутылку на стол; о том, чтобы поднять крышечку, он и думать не хочет.

Ну, как там у тебя? говорит Элиот. Это он о моей стране. Ему нравится эта глупая фразочка — «как там у тебя»; а я ненавижу, как он ее произносит, словно моя страна — распоследняя дыра. Не до-

жидаясь моего ответа, он говорит: Ты не знакома с моей дочерью Кейт? Она только что из колледжа. Кейт, это Дарлинг, племянница Фосталины. Ты ведь помнишь Фосталину? Работала в отеле, иногда сидела с тобой и Джои. Элиот поворачивается к Кейт, которая робко стоит на пороге кухни, словно ей нужна виза, чтобы войти.

Привет, говорит она. Я киваю и смотрю на нее. Ей невдомек, но я уже знаю все, что только можно знать о ней. Например, две недели назад в колледже она пыталась покончить с собой после того, как с ней порвал бойфренд, сказав, что она недостаточно сексуальна, а ее родители не в курсе. Я знаю, что, глядя в зеркало, она видит страшную толстую корову и ненавидит свое тело, потому что оно выглядит не так, как ей хотелось бы. Из-за этого она морит себя голодом, о чем ее родители тоже не знают. Я также знаю, что если она все-таки поест, то потом идет в ванную и вызывает рвоту. Все это записано в дневнике, который я нашла под ее кроватью, когда убиралась в ее комнате; я прочла его, потому что спрятанные вещи хотят, чтобы их нашли. Мне интересно, как она живет, как справляется с голодом, с этими ужасными длинными когтями, которые скребут и скребут в животе, — отчего все плывет перед

глазами, ноги дрожат, мысли путаются, и ты готова на все, буквально на все ради единственной крошки.

Кейт лоснится от пота, ее длинные волосы, почти черные, липнут к лицу. Она не уродина; вообще-то я считаю ее очень, очень симпатичной и не понимаю, в чем ее проблема. На вид она не сильно старше меня. Она продолжает стоять, где стояла, будто ждет моего разрешения, чтобы сдвинуться с места. Собачка теперь пристает к Элиоту, прыгает вокруг него и все такое, так что он открывает буфет, достает пакет с лакомствами и протягивает ей одно. Собачка берет его с ладони и уносится.

Ты собираешься поесть чего-нибудь? говорит Элиот, направляясь к лестнице.

Да, только сперва душ приму, говорит Кейт. Ее голос кажется таким далеким, словно его, типа, задержали на границе или вроде того. Она идет вслед за отцом; мне интересно, где ее мать, но лучше об этом не спрашивать. Я смотрю, как Кейт поднимается — в футболке с надписью «Невидимые дети», облепившей тело так, что проступают кости. Я застываю на секунду и думаю о том, что именно она сделает, поднявшись к себе: действительно примет душ или зайдет в туалет

и сотворит какую-нибудь дикость. И достанет ли из-под кровати — до или после этого — свой дорогой дневник, чтобы записать в него свою дорогую галиматью.

Какое-то время спустя я оборачиваюсь, закончив оттирать дверцы холодильника, а она стоит у меня за спиной, точно привидение. Интересно, сколько она так простояла? Волосы у нее влажные, а футболка теперь с эмблемой Корнелла, как у Бастарда.

Ты учишься в Корнелле? говорю я. Когда я думала о поступлении в колледж, то собиралась подаваться в Корнелл, потому что мне казалось, что я уже знаю его, словно между нами существовала некая связь, но потом я увидела стоимость обучения и чуть не сдохла; иностранной студентке типа меня получить стипендию очень трудно. Но я все равно тронута этой футболкой, и у меня такое чувство, что сейчас из воздуха возникнет Бастард и вся наша орава. Я начинаю размышлять о том, чем мы стали бы заниматься в этом квартале, название которого я все время забываю. Я открываю рот, почти готовая рассказать Кейт о Бастарде, Парадайзе и остальных, но потом закрываю; нечего тут рассказывать.

Я смотрю, как она движется по кухне, словно

кошка, открывая холодильник, заглядывая в шкафы и в ящики. Я занимаюсь тем, что тру раковину, хотя уже оттерла ее раньше; на самом деле мне интересно, что Кейт будет есть. Когда же она наконец сооружает себе завтрак на тарелке — пять изюмин, одна маленькая круглая штучка и стакан воды, — я начинаю смеяться.

Она поворачивается ко мне со смущенным видом, и я складываюсь пополам. То есть это сильнее меня, я просто подыхаю со смеху. Потому что посуди сама, мисс я-хочу-быть-сексуальной: твой холодильник ломится от еды, и сколько бы ты ни голодала, ты никогда не поймешь, что такое реальный, настоящий голод. Оглядись и посмотри, сколько у тебя дорогих вещей, которые тебе даже не нужны; у тебя есть кровать, достойная королей; ты учишься в Корнелле и можешь стать кем захочешь; тебе даже убирать за собой не нужно, потому что это я за тебя делаю, прямо сейчас; твоя собачка имеет гардероб, который мне не по карману; и плюс ко всему ты живешь в родной стране, — так чего тебе реально не хватает?

Потом за мной заезжает Васко да Гама, и я прощаюсь с Кейт. Она не отвечает, и я понимаю, что она дуется на меня, но мне почти без разницы,

ведь я не тырила ее гуавы. К тому же я работаю не на нее, а на ее отца, и сомневаюсь, что он уволит меня по первому ее слову. Тем более что на следующей неделе я вроде как начну учить его моему языку, так как они с братом собираются в мою страну — застрелить слона, о чем он мечтает с детства. Не знаю, где ему пригодится мой язык, — может, он, типа, собирается спросить слона, как тот смотрит на то, чтобы его убили, или вроде того? В общем, я знаю, что за это хорошо заплатят. Элиот всегда хорошо мне платит, а после того, как вышло это видео о Кони[74], он со мной такой добрый, будто я из Уганды, будто я — из этих несчастных детей, показанных в фильме. Он объездил всю Африку, но все, что он способен рассказать о странах, в которых побывал, — это какие там животные и парки.

Мы едем по Главной западной, направляясь в сторону хайвея, и я размышляю, куда меня повезет Васко да Гама, когда звонит его телефон. Он выуживает его из кармана рубашки, смотрит

[74] Примечания: 74

В 2012 году компания «Невидимые дети» (*англ.* Invisible Children Inc) выпустила фильм «Кони 2012», который рассказывает о Джозефе Кони (род. 1961), лидере угандийских партизан и основателе Армии сопротивления Господа (LRA), которую миротворцы ООН, Европейский союз, США и другие признали террористической группировкой.

на экран, протягивает мне, и я понимаю, что это тетя Фосталина.

Вам надо ехать в «Шейдибрук», сейчас же, говорит она.

Мы в дороге, я не знаю, куда Васко да Гама направляется, говорю я на своем языке, чтобы он не понял.

Ну, скажи ему, чтобы поворачивал.

Но…

Дарлинг, просто дай ему телефон, говорит она, и я понимаю по ее голосу, что все серьезно. Я даю ему телефон, и, когда Васко да Гама поворачивает направо на светофоре перед «Уалгринсом», втягиваю щеки, смотрю в окно и улыбаюсь, избежав очередной сумасшедшей поездки.

У входа в «Шейдибрук» нас встречает Чака Зулу — как будто это он нас вызвал; он подходит ко мне, оттолкнув дядю Коджо, вручает мне реальное копье и говорит: Вооружись, воин, нельзя допустить, чтобы те белые стервятники, с чьих гнусных клювов каплет кровь, опустились на эту черную землю. В его голосе слышится тревога. Не зная, что сделать или сказать, я просто смотрю на копье у себя в руке, затем на дядю Коджо и улыбаюсь.

Что он сказал? Что он говорит? спрашивает

дядя Коджо, и я начинаю мысленно переводить слова Чаки Зулу, но не могу сосредоточиться, потому что теперь он запрокидывает лицо к небу и издает такой ужасный вопль, какого я в жизни не слыхала; даже когда он закрыл рот, воздух еще долго продолжает звенеть. Помимо того, что Чака Зулу облачился в свое традиционное одеяние, он еще выкрасил все тело ярко-красной краской, а голову украсил красными, черными и белыми перьями. Сегодня он бесподобен — даже я готова признать, что вид у него запредельный, и, может, поэтому я тоже ощущаю это странное шевеление внутри, испытываю это безымянное чувство, от которого хочется хлопать в ладоши, прыгать, кричать и просто сходить с ума, словно я проглотила электричество.

Где же оно, мое остальное импи[75]? Мы должны сейчас же сделать коровий рог, быстрей, говорит Чака Зулу, озираясь по сторонам.

Этот человек безумен. Что он несет? говорит дядя Коджо в растерянности.

Импи? говорю я. Я уже не улыбаюсь, потому что осознаю: я никогда еще не видела Чаку Зулу таким. Глаза его настолько странные, будто это

---

[75] Примечания: 75
Impi — войско (*коса*).

и не глаза, а, может, колодцы, в которых мечется что-то свирепое. Я уже без всяких слов понимаю, что это реальное безумие. С некоторых пор ему стало хуже — на прошлой неделе, к примеру, он вышел из клиники, когда никто не видел, и каким-то образом убедил незнакомца отвезти его в аэропорт. А там потребовал, чтобы ему дали самолет и доставили в Букингемский дворец, мол, ему надо поговорить с королевой о том, что она задолжала ему.

Я смотрю на дверь и думаю: где же Клодин, почему она не пытается ничего сделать?

Чака Зулу поворачивается и указывает вдаль, рассекая воздух своим копьем. А я обращаю внимание на то, что держу в руках. Оно нелегкое, дерево старое, металл слегка заржавел; где он вообще это достал?

Видишь? Ты видишь то, что вижу я? говорит он, оглядываясь на меня.

Да, я вижу их, говорю я, но на самом деле все, что я вижу, — это дома, деревья, почтовые ящики и машины.

О чем вы? говорит дядя Коджо. Он уже звонит в звонок, стучит в дверь и заглядывает в окно. Я отчаянно киваю и гляжу туда, куда указывает Чака Зулу. В конце улицы едут на великах трое ребят.

Ты видишь их, как вижу я? Что ты видишь? говорит Чака Зулу.

Что происходит с этим человеком? И почему эта женщина там, внутри, ничего не делает? говорит дядя Коджо. По голосу ясно, что ему не по себе, но я слишком встревожена, чтобы отвечать ему, поэтому он похож на еще одного сумасшедшего, который разговаривает сам с собой.

Я сказал, что ты видишь, воин? говорит Чака Зулу.

Стервятников, говорю я с легкой дрожью в голосе. Я уже сама не понимаю, о чем говорю.

Если мы позволим им опуститься, то вся родина падет, и нами будут править чужаки. Нас заставят говорить на языках из белых стран, боготворить их гнусных богов. Они поработят нас на нашей же земле; мы станем их псами. Но нет, говорит он и смеется. Таким большим, большим смехом, готовым поглотить небо. Нет, клянусь черной коровой отца, сегодня будет смерть или победа.

Когда Чака Зулу говорит «смерть или победа», у меня замирает сердце. Причина в том, как он это говорит — сквозь стиснутые зубы, словно превозмогая боль, и вены на его шее чуть не лопаются. Если верить ему, то белые стервятники кружат совсем близко; какие-то, говорит он, сидят верхом, а

другие затаились в кустах со своими зловещими палками, изрыгающими огонь. Его голос теперь стал глубже, и я уже с трудом понимаю его; это все равно что слушать заезженную пластинку.

Когда он выходит на шоссе, я следую за ним чуть поодаль, а за мной идет дядя Коджо. Он что-то говорит, но я не слушаю. Чака Зулу шагает все быстрее, его юбка из звериной кожи развевается на ветру, на голове танцуют яркие перья. Затем он срывается на бег, и я с ужасом понимаю, что бежит он к доставщику пиццы, который только что припарковался у соседнего дома и выходит из машины с пиццей в руке. Я уже вижу, как копье вспарывает ему кишки и хлещет кровь. Я роняю свое копье и смотрю на дядю Коджо, который вопит и машет руками. Доставщик поднимает взгляд, и в этот момент воздух заполняют полицейские сирены. Я не знаю, кто и когда вызвал полицию.

Доставщик стоит секунду как вкопанный, а после, наверное, что-то щелкает у него в голове, он быстро залезает в машину и трогается с места. Копье Чаки Зулу взмывает в воздух, но, пролетев несколько метров, падает на тротуар. Когда он к нему подбегает, его окружают полицейские машины. Дверцы открываются и хлопают, воз-

никает уйма пушек, так что я разворачиваюсь и несусь назад мимо дяди Коджо в сторону клиники, в окне которой маячит чье-то лицо. Я слышу за спиной: Бросьте оружие! Стойте! Лягте на землю! Покажите руки! Бросьте оружие. Бросьте оружие! Бросьте оружие! И понимаю, что Чака Зулу не бросит свое оружие. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как он устремляется ввысь, словно сумасшедший самолет, готовый взлететь.

Надпись на стене

Однажды вечером, когда мне полагалось изучать раны для контрольной по биологии, я испоганила обои в своей комнате. Меня на самом деле не особенно занимал материал, который я читала, как и вообще биология, к тому же раны, на мой взгляд, просто отвратительны. Перелистывая эти тошнотворные картинки, страницу за страницей, я чувствую, как сжимается сердце. Я понимаю, что раны — это не цветы, но всему есть предел. Добравшись до бесцветной открытой массы, сочащейся гноем и кровью на щеке какой-то девушки, я понимаю, что с меня хватит. Я захлопываю книгу, швыряю под кровать и слышу, как она ударяется о стену.

Мне уже ясно, что эти науки, на которых тетя Фосталина настаивает, чтобы я сосредоточилась, — совершенно не мое. Теперь, когда я почти окончила старшую школу, она все пилит и пилит меня, требуя, чтобы я освоила медицину, или уход за больными, или что-нибудь в том же духе, и поступила в колледж в следующем году, а если с этим не получится, то хотя бы на юридический.

Она говорит, что с такими специальностями не пропадешь, и не для того я приехала в Америку, чтобы заниматься не пойми чем и быть никем. Но я знаю лишь одно: ничего из этого меня не вдохновляет; то есть я еще не решила, чем именно хочу заниматься, но идеи тети Фосталины не вызывают во мне ни малейшего энтузиазма.

Я сижу на кровати, уставившись в стену, и думаю о том, как буду говорить все это тете Фосталине, когда начинает вибрировать мой BlackBerry. Я нахожу его под простынями, раскрываю и вижу сообщение от Марины.

че как?

да так. надо учить тупую био, пишу я.

ржу, че сразу тупую? мне типа нра, пишет она.

просто ты хош быть врачом. меня не прет, пишу я.

ну это какбе батя хочет. кароч, какие планы? пишет она.

хз, пишу я.

Марина ничего не отвечает какое-то время, и я не удивляюсь. С тех пор как она перешла в эту понтовую старшую школу, мы не общаемся как раньше. В ожидании я беру красный маркер и вывожу на стене над корзиной с одеждой: «иБио

ийирабиши»[76], а потом еще и обвожу. Когда телефон снова вибрирует, я дорисовываю круг и возвращаюсь к нему.

скуземуа, Кайл. ЛЧ ждал ЛС, читаю я.

ок, пишу я. Мои буквы на стене огромные, такими я писала в первом классе. Красный похож на кровь, и до меня только сейчас доходит, что стереть это будет трудно.

Я надеваю тапки и выхожу из комнаты. На кухне светло от уличных фонарей, поэтому свет не включаю. Я беру губку, выдавливаю на нее каплю мыла и чуток воды. Возвращаясь, задеваю бедром край стола. Я складываюсь в полутьме и тихо матерюсь. Когда боль проходит, дохожу до комнаты.

Я тру стену, но делаю только хуже. Красный расплылся уродским пятном, а буквы все равно видны. Однажды, отправляясь в Будапешт, мы прихватили пачку черных маркеров, которые нам дали люди из НПО, и стали портить частные стены. Мы рисовали члены, здоровые члены, ряды за рядами, поскольку не знали, как выглядят вагины, а затем добавляли к членам такие слова, как «голо», «бече», «мборо», «мхата», «свира»,

---

[76] Примечания: 76
iBio iyirabishi — «биология — это мусор» (*ндебеле*).

«нчомпи», «боло», «зека» и прочие непристойности. Хозяева потом пытались стереть наши художества, но без толку. На стенах несколько дней оставались пятна, и в итоге их закрасили.

Снова глянув на телефон, я вижу, что Марина уже что-то написала.

млин, кароч я дала ему вчера, пишет она.

ОМГ! пишу я. И сразу добавляю: *больно было?*

крови не было, пишет она.

тогда целка палюбасу, пишу я.

Когда мы перестали смотреть видосики, потому что в конце концов тетя Фосталина застукала нас и задала трепку нам с Мариной, пощадив Кристал, — мол, не хотела неприятностей, раз американцы называют трепку насилием над ребенком, — мы поспорили, кто первой лишится девственности. Кристал уже беременная, так что теперь спорим мы с Мариной. Я беру с тумбочки пачку жвачек «Джуси-фрут», вынимаю две, снимаю обертку, бросаю в рот и медленно жую, ощущая взрыв сладости на языке.

не факт, пишет Марина.

лан. знаш чо? пишу я.

чо? пишет она.

я шмалила с Тони, пишу я.

чо? пишет она.

шалила с Тони. шалила, пишу я.

ОМГ! пишет она и сразу добавляет: *где? и как тебе? так он не гей?*

Я слышу с улицы чьи-то голоса; похоже, там кто-то стоит, поэтому я выключаю свет, отодвигаю занавеску и смотрю. В темноте я различаю силуэты, сгрудившиеся под большим деревом у дороги. Окно у меня приподнято, и я могу их расслышать, но, прислушавшись, понимаю, что говорят на иностранном языке. Я такого не знаю; может, какой-нибудь европейский или вроде того. Я стою какое-то время, прижав лицо к стеклу. Когда снова включаю свет и смотрю на телефон, там уже ждет сообщение от Марины:

?????

ржу, нет. у цыпы, в среду, пишу я.

В среду я договорилась с Аммой, что она заедет за мной. Тетя Фосталина работала в ночную смену. Амма позвонила, и я открыла ей, держа школьный рюкзак в одной руке и большую бутылку воды в другой. Когда дядя Коджо вопросительно посмотрел на нас красными глазами, так как уже ополовинил бутылку «Джека Дэниелса», я сказала, что мы будем готовиться к завтрашней контрольной, и прочитала в его пьяных глазах: В таком виде ни в какое приличное

место не ходят.

Мы с Аммой были на танцполе у Цыпы, и к нам подошли Тони и еще один чувак с дредами. Амма вовсю танцевала — она такая, а я просто стояла и смотрела, потому что считаю ар-н-би и хип-хоп отстоем. В них нет почти никакого смысла, то есть все сводится к ругательствам: на хуй это, суки то, в пизду это, шмары то. Но когда ребята стали пристраиваться к нам, я начала покачиваться под музыку, просто чтобы не стоять как дура. Тони прижимался ко мне сзади так тесно, что хоть пилой отпиливай, его руки скользили по моим бокам, гладили по животу. Он горячо дышал мне в шею, и я чувствовала задницей его прибор.

Помню, музыка сменилась на дэнсхолл, в котором тоже хватает грубостей, но под него хотя бы танцевать удобнее. В какой-то момент мы остановились, чтобы посмотреть на девушку с шевелюрой: она стояла на голове, раскинув ноги в воздухе, а узкая желтая юбка обтягивала ее задницу, открывая трусики. Затем этот тощий парень с зелеными волосами взял и набросился на девушку, как будто они подрались или вроде того, схватил ее за лодыжки, развел ноги еще шире, типа хотел разорвать ее, и закружился возле, а потом развернул, чтобы она наклонилась, и стал

конкретно колотиться и долбиться об нее, как будто она кусок мяса.

Выглядело дико, но все прям взвыли от восторга. Наверное, это и есть тот новый чумовой танец, даггеринг[77]. И хотя он казался мне странным и неправильным, вскоре я тоже принялась хлопать, потому что все так делали. Когда заиграла песня поспокойней, Тони повернул меня к себе и внезапно начал целовать, но я подумала, что, может, так и надо. Удивительно было почувствовать у себя во рту его холодный неловкий язык, похожий на кусок мяса.

ну и как оно? пишет Марина.

ну так, ничо, пишу я. Я представляю, как она закатывает свои большие глаза, ожидая подробностей. Я бросаю телефон на кровать, беру маркер и начинаю рисовать на стене болтающиеся языки, которые неожиданно для меня превращаются в змей — коротких, длинных, двуглавых. Телефон вибрирует, но я не беру его. Вернувшись домой в тот вечер, я сразу прошла в ванную и, прежде чем принимать душ, достала из-под раковины новенькую зубную щетку, выдавила на нее побольше зубной пасты и хорошенько оттерла язык

---

[77] Примечания: 77
Даггеринг (*англ.* daggering) — заклание.

под горячей водой.

Внизу открывается входная дверь, и по тому, как долго ее не закрывают и как громко потом хлопают, я понимаю, что это вернулся из своих путешествий Васко да Гама. Я представляю, как он размеренно шагает, словно преодолевает какие-то препятствия, чуть не спотыкается о выстроенную рядами обувь, занимающую половину прохода, и плюхается на большой диван перед теликом. Представляю, как он склоняет голову влево и застывает — так застывает, точно слушает Бога, а затем, будто проснувшись после короткого сна, вздрагивает и тянется к пульту, который лежит перед ним на стеклянном кофейном столике. Представляю, как он жмет кнопки своими большими толстыми пальцами, жмет и жмет, подавшись вперед, пальцы шевелятся все быстрее, потому что он должен поскорее найти военный канал, если хочет высмотреть своего сына среди других американских ребят, одетых солдатами.

В последнее время Васко да Гаме становится все хуже. Его путешествия уже выходят из-под контроля; каждый раз он уезжает все дальше и дальше — можно подумать, он готовится поехать в Афганистан и забрать Ти-Кея. Поначалу

он пропадал по несколько часов, затем исчез на всю ночь, потом его не было пару дней. Когда он возвращается, вид у него растрепанный и суровый, словно он побывал на войне; капот его машины, ветровое стекло, решетка и номер облеплены мертвыми жуками и насекомыми. Тетя Фосталина, вечно занятая на работах, никак по-настоящему не реагирует на то, что творится с Васко да Гамой. Может, надеется, что он устанет от путешествий; может, думает, что они как раз помогают ему; может, не хочет этим заниматься или просто не знает, что делать.

Но это еще не все: повсюду, как из шляпы фокусника, стали появляться бутылки из-под пива и чего покрепче. Поначалу они прятались в машине — под сиденьями и в багажнике, под кухонной раковиной, в подвале, в разных случайных местах. Поскольку я всегда была дома, когда не училась и не работала, я собирала и выбрасывала бутылки, понимая, что ничего хорошего не будет, если о них узнает тетя Фосталина. Но она все равно узнала: невозможно вечно скрывать такое. Как-то раз в выходной она убиралась в подвале и наткнулась там на бутылочные залежи. У них с дядей Коджо состоялся разговор на эту тему, но бутылки продолжали появляться. Из чего

следовало, что между ними все кончено; теперь они просто живут рядом, как соседние страны.

На прошлой неделе я пришла домой и застукала тетю Фосталину с Элиотом. Сперва я понятия не имела, что он в доме; я вошла, сделала сэндвич, устроилась на диване и стала набирать Кристал, как вдруг в гостиную вошел Элиот в белых трусах с красными поцелуями; его волосатый живот вывалился на всю комнату, а в трусах выпирал прибор. От неожиданности я закричала. Вскоре прибежала тетя Фосталина, завернутая в свой любимый халат с выцветшими флажками нашей страны.

Я спускаюсь по лестнице, подхожу к двери в гостиную и тихонько заглядываю. Дядя Коджо сидит в полутьме; комнату освещает телик, на котором измотанные солдаты идут через клубы дыма, оставив позади пару разбомбленных горящих машин. На экране — день, но из-за дыма кажется, что ночь. Там тьма-тьмущая дыма. Мне кажется, что я его почти чую, почти вижу, как он просачивается в гостиную, окутывая дядю Коджо. Я оставляю его в дыму и иду на кухню — разогреть ему еду в микроволновке, потому что сам он забудет.

Вернувшись, убираю со стола бутылки из-под

джина и ставлю перед дядей Коджо джолоф из риса с карри. Он сидит, откинувшись на спинку дивана, с закрытыми глазами; я не знаю, спит он, задумался или что. Какое-то время я смотрю на его лицо, затем — сама не понимаю зачем — беру одну из бутылок с джином и делаю глоток. Вкус противный и жгучий; я глотаю только потому, что не знаю, куда выплюнуть. По телику идет дождь, под деревом стоит и курит одинокий солдат. Я присаживаюсь в ногах дяди Коджо, расшнуровываю его ботинки и снимаю. Мне хочется встряхнуть его, чтобы проверить, спит он или нет, но в итоге я просто сажусь на диван и смотрю на солдата, стоящего под дождем, — словно его забыла мама, словно он Сирия и выбыл из игры в страны.

Первое, что я вижу, когда просыпаюсь утром, — это срач на стене. Сперва я не могу понять, откуда он там, но потом включаю голову и быстро вспоминаю, как меня переклинило с этим маркером прошлым вечером. Часы на прикроватной тумбочке показывают 7:15, а это значит, что до возвращения с работы тети Фосталины остается меньше получаса. Я вскакиваю с кровати и несусь в подвал.

Я кидаюсь в угол с большими вещевыми

коробками и быстро нахожу одну с надписью «Национальное убранство и т. п.». Отбросив крышку, начинаю там рыться. Довольно скоро я обнаруживаю батик размером с пляжное полотенце. На нем изображена рыночная сцена, полная жизни и цвета — люди продают всякое: фрукты, овощи, продукты, яркие бусы и ткани, сумочки, ремни, фигурки животных, ну то есть все, что только можно. Дети, женщины, мужчины с младенцами за спиной, старики, пара собак, велосипед — и все это невероятно живое под ярко-синим небом.

Глядя на картину, я вспоминаю, как здорово было находиться на реальном таком рынке, когда все были вместе, вращались, жили рядом, — до того, как настала разруха. Я ощущаю тупую боль в сердце, как всегда бывает в последнее время при мыслях о доме, а потому откладываю батик и роюсь дальше. Я нахожу медные часы среднего размера в форме карты нашей страны. Посередине нарисован жираф, тянущийся к деревьям, от которых расходятся стрелки. Время застыло на шести, длинная стрелка сломана. И наконец, я нахожу эту стремную маску; она составлена из двух частей — белой и черной. По черной половине расползается безумная сетка трещин — непонятно отчего, но смотрится это интересно,

поэтому я забираю маску и еще пару предметов к себе в комнату.

Когда я заканчиваю закрывать стену, маска смотрит на меня с загадочным видом— словно пытается сказать что-то такое, на разгадку чего у меня уйдут годы. Рядом висят сломанные часы. Дополняет композицию батик с чумовым рынком, растянутый по другую сторону от комода. Мне кажется, я слышу все, что происходит там: торговцы нахваливают свой товар, кто-то предлагает мне что-то купить со скидкой; мальчишки посвистывают вслед девчонкам; малыши канючат сладости; дети распевают «Кто открыл путь в Индию?» и играют в виллибол; а над всем этим разносится материнский смех.

Я стою, рассматривая эти украшения, и вспоминаю об одной вещице, которую нашла у Элиота, когда убиралась там накануне. Опустившись на колени, я залезаю под кровать, куда спрятала ее. Это пластина из слоновой кости в форме Африки, в самом центре которой прорезан глаз. Поверхность ее покрыта замысловатыми линиями.

Когда я увидела ее у Элиота среди других вещиц, привезенных из путешествий, у меня возникло чувство, будто этот глаз смотрит на меня, и я решила, что должна стырить эту Африку

из слоновой кости. Я вешаю ее прямо над своей кроватью и оглядываю комнату; теперь она в порядке, чего не скажешь обо мне: я все время думаю о доме и так скучаю по нему, что трудно дышать. Я знаю, что от этого давящего чувства так просто не избавиться, поэтому достаю макбук и открываю скайп, чтобы позвонить маме.

На звонок отвечает Чипо. Сперва я ее даже не узнаю в этой взрослой женщине. Когда же она называет себя, я удивляюсь, что она делает в доме моей мамы, — она уже не в том возрасте, чтобы тырить гуавы. Но, так или иначе, я ее не спрашиваю об этом, чтобы не быть грубой.

А где остальные? говорю я после того, как мы поздоровались.

Бастард наконец уехал в Южную Африку. Гадноуз в Дубае. Сбо присоединилась к этой театральной труппе, и я слышала, что они собираются выступать по всему миру, говорит она.

А Стина? говорю я.

Стина? Стина здесь, но я смутно представляю, чем он занимается. Он то появляется, то исчезает надолго.

Так, значит, ты совсем одна? говорю я.

Я не одна, со мной Дарлинг, говорит она.

Дарлинг?

Да, Дарлинг. Моя дочь. Забыла?

А, говорю я. И мы замолкаем, может, потому, что не знаем, что еще сказать. Чипо видится мне совершенно одинокой, и я невольно чувствую к ней жалость, чувствую, что ей там плохо. Затем что-то во мне сдвигается, и я начинаю чувствовать досаду, а затем и злость на наших вождей, из-за которых все это произошло, которые все разрушили.

Чипо, я понимаю, вам там плохо, и мне очень жаль. Мне больно думать об этом, говорю я.

А что случилось? Отчего тебе больно? говорит она.

Оттого, что они сделали с нашей страной. Причинили столько страданий, говорю я.

Ну, везде, где живут люди, хватает страданий.

Я понимаю. На прошлой неделе я видела по Би-би-си…

Но ведь это не ты страдаешь. Ты думаешь, если смотришь Би-би-си, то знаешь, что происходит? Нет, подруга, не знаешь. Только рана знает, какова на ощупь боль. Это мы, оставшиеся здесь, реально страдаем, и это мы имеем право хоть что-то говорить об этом, о чем-либо, о ком-либо, говорит она. Ее дерзкий тон застает меня врасплох — как внезапная пощечина. Я ошеломлена

и не могу сообразить, что сказать.

Что? Я не… это ведь и моя страна. Это и наша страна, говорю я. И тут Чипо начинает смеяться таким безумным бабским смехом, что я качаю головой и думаю: что за хуйня? Откуда это в ней вообще?

Это твоя страна, Дарлинг? Реально, твоя страна, ты уверена? говорит она, и я чувствую, как во мне поднимается бешенство. Я навожу курсор мышки на красную телефонную трубку, готовая кликнуть по ней и завершить разговор, потому что у меня нет времени на такое дерьмо. Но, поднимая взгляд, вижу, как на меня смотрит глаз с пластины над кроватью; и отпускаю мышь.

Где моя мама? Позови мою маму или бабушку, говорю я.

Просто скажи мне одну вещь. Что ты сейчас делаешь *не* в своей стране? Почему ты убежала в Америку, Дарлинг Нонкулулеко Нкала[78], а? Почему ты просто уехала? Если это твоя страна, то ты должна любить ее и жить в ней, а не уезжать. Ты должна сражаться за нее, что бы ни случилось, и стараться сделать ее лучше. Скажи мне, если твой дом горит, ты ищешь воду, чтобы

---

[78] Примечания: 78
Nonkululeko Nkala — Свобода Слова (*коса*).

потушить огонь, или бросаешь его? Оставляешь гореть и ждешь, что огонь превратится в воду и сам себя потушит? Ты оставила свой дом, Дарлинг, оставила его гореть, дорогая, и у тебя хватает наглости говорить мне, с этим дурацким акцентом — с которым ты не родилась и который тебе не идет, — что это твоя страна?

В голове у меня звенит. Я отшвыриваю компьютер, и, когда понимаю, что натворила, он уже летит в стену. Я ахаю, видя, как он врезается в маску, и закрываю уши, когда они вместе падают на пол. Я не смотрю туда, чтобы оценить ущерб, а просто выметаюсь из комнаты, словно из нее высосали воздух. Внезапно я оказываюсь в комнате Ти-Кея, прямо перед его кроватью. На стене напротив висит увеличенная фотография, на которой Ти-Кей с другом Боби танцуют азонто, руки-ноги в сумасшедших позах, на лицах усмешки. Я представляю, как Ти-Кей смеется надо мной с таким же выражением лица, так что отворачиваюсь и смотрю на мишень для игры в дротики. Сердце скачет, горло сдавило.

Снова успокоившись, я обхожу комнату. В ней чисто, потому что дядя Коджо постоянно здесь прибирается; если не знать, то можно подумать, что в ней живут. На большом столе рядом с тели-

ком — «Иксбокс», пара дивиди, коробка салфеток, пластиковая кружка с ручкой и карандашами, «Плейбой». Все выглядит так, словно Ти-Кей никуда не уезжал, словно он сейчас войдет и станет всем этим пользоваться. Я тянусь к большой деревянной полке у окна, отодвигаю маленькие барабаны, просовываю руку между львами, леопардами и слонами и прикасаюсь к Чаке Зулу.

Меня всегда напрягает мертвая тишина в этой комнате, и, чтобы заполнить ее, я приветствую Чаку Зулу и иногда рассказываю ему о погоде. Или, если есть новости, то о чем-нибудь интересном: тетя Фосталина спит теперь с этим белым; в Японии было ужасное землетрясение; дома опять арестовывают людей. В своем завещании Чака Зулу сказал, что тете Фосталине нужно отвезти его прах домой и похоронить в отцовской деревне, внутри крааля, как и положено, но тете Фосталине пока нельзя возвращаться, никому из нас нельзя.

Сегодня мне нечего сказать Чаке Зулу; я просто касаюсь деревянной урны в форме калабаша[79], будто благословляю ее, и стою так. Я даже не двигаюсь, когда заходит дядя Коджо — с таким

[79] Примечания: 79
Калабаш — высушенная бутылочная тыква.

видом, словно его осел отрыгнул.

Бен Ладена убили наконец-то! Он почти кричит, хотя нас в этой тихой комнате всего двое. Он дышит перегаром, и у меня от этого запаха сводит живот.

О, говорю я, отхожу от полки и встаю у окна.

Ты знаешь, кто это такой?

Тот чувак, террорист, говорю я. Я не заметила, как сказала это слово — «чувак», но дядя Коджо не отчитывает меня. Он просто стоит, загораживая дверной проем, с ключами от машины в руке. Я замечаю повязку над его запястьем и думаю, что с ним случилось, не поранился ли он в одной из своих поездок.

Он был в Пакистане, скрывался. Скоро выйдет президент и сделает заявление. Да, бен Ладен действительно мертв, разве не событие? говорит он, позвякивая ключами.

Когда Америка объявила большую награду за бен Ладена, мы сделали копья из веток и стали за ним охотиться. Тогда мы только очутились в Парадайзе и придумывали разные новые игры в ожидании, пока родители не заберут нас обратно в наши настоящие дома. Сперва мы стучали по жестяным лачугам и кричали, чтобы бен Ладен выходил, однако он не выходил, и мы побежали

в заросли на краю улицы. Мы искали его в высокой бурой траве, в самой гуще; забирались на деревья, смотрели под камнями. Где мы только не искали его. Потом мы полезли на Фамбеки, но, когда поднялись, нам уже стало жарко и скучно. Это было все равно что искать воздух; нигде не было этого бен Ладена.

Зачем мы вообще его ищем? сказала Сбо.

Не знаю, эта игра скучная, нам нужны игры получше, сказала Чипо.

Может, будем искать Иисуса, он важнее бен Ладена, сказал Гадноуз.

Иисус еще хуже, никто не может найти Иисуса, даже американцы, сказал Бастард.

Неправда. Мать Костей нашла его, сказала я. Мы немного помолчали, стоя на горе, — неожиданно высокие. Мы смотрели вниз. На лачуги. На красную землю. На Мзиликази. На дома Будапешта вдалеке. Бен Ладен мог быть где угодно.

Мы стояли молча. А солнце жарило нас. Затем Стина бросил свое копье с горы, мы побросали наши и смотрели, как они летят. После Бастард подошел к краю и стал мочиться, и Гадноуз со Стиной тоже. Мы с Чипо и Сбо остались позади и смотрели, как мальчишки выставляют вперед бедра и выстреливают в воздух, — каждый хотел

послать свою струю дальше других.

Мы уже забыли думать о бен Ладене и просто шли по Мзиликази, как вдруг увидели Нканку. Нканку долгое время была собакой Борнфри, пока однажды не решила — по причинам, которые мы никогда не узнаем, — что больше она не его собака. С тех пор она бродила по Парадайзу и окрестностям, будто чокнутая, искала, чем поживиться, и даже не реагировала, когда ее звали по имени или свистели. Увидев ее на Мзиликази, мы побежали к ней, крича: Бен Ладен! Бен Ладен!

Может, Нканку слышала нас. Может, не слышала. Она стояла на месте, прямо посреди дороги, склонив голову к чему-то, чего мы не видели; можно было подумать, она молится за страну. И внезапно возник большой грузовик с банановым хлебом. Мы стали махать руками, как очумелые, и кричать изо всех сил Нканку, но без толку. В следующий момент раздалось отвратительное «бух!», и большой грузовик остановился. Пока мы стояли, ошарашенные, он сорвался с места и загрохотал дальше.

На дороге было что-то красное. Две глубокие борозды, где шины пропахали землю. Беззвучный вопль, утонувший в ложбине свернутого горла. Белый мех, пестреющий красными потеками,

словно кто-то неумело пытался его разукрасить. Большие оскаленные зубы. Раздавленное мясо. Длинный розовый язык, облизывающий землю. Вскинутая, словно в приветствии, лапа. Торчащие из живота кости. Выпавший из орбиты глаз (другого я не видела). И чудесный, чудесный запах бананового хлеба.

Благодарности

Umuntu ngumuntu ngabantu. Человек становится человеком среди людей. Я в неоплатном долгу перед многими, кто уделял мне время, дарил наставления, поддержку, любовь, наставничество, дружбу, поощрение, возможности и делал другие бесценные подарки, позволившие мне создать «Нам нужны новые имена». Не представляю, как перечислить и отблагодарить вас всех, ведь вас так много, но вы и так знаете о себе; сердечно благодарю вас в этот день и всегда.

Я признательна Общественному колледжу долины Каламазу, Техасскому университету A&M в Коммерсе, Южному методистскому университету, Корнеллскому и Стэнфордскому университетам за то, что приютили меня.

Особая благодарность — Чин Ау, моему непревзойденному агенту и читателю, которая была со мной с самого начала; моему потрясающему агенту Альбе Циглер-Бэйли; и моим редакторам, Лоре Тисдел и Бекки Харди, за то, что полюбили эту книгу и трудились над ней, не жалея сил.

Хелена Мария Вирамонтес, без вас я бы не спра-

вилась.

И конечно, я обязана Зимбабве, любимой родине, стране моего народа. За подаренные мне истории, за душу и за крутость. Ngiyabonga mina![80]

Благодарю вас всех и безгранично люблю.

Окленд, Калифорния
Январь 2013

---

[80] Примечания: 80
Примите мою благодарность (*коса*).

Об авторе

НоВайолет Булавайо получила в 2011 году премию Кейна за африканскую литературу и попала в короткий список Южноафриканской литературной премии ПЕН/Стаджински в 2009 году. Ее произведения публиковались в «Бостон ревью», «Ньюсуик», «Каллалу» и «Уорвик ревью». Она получила степень магистра искусств в Корнелльском университете и в настоящее время является научной сотрудницей Стэнфордского университета по программе Уоллэса Стегнера.

От переводчика

Английский язык — часть колониального наследия Зимбабве, и он оказал значительное влияние на культуру страны. Это проявляется, помимо прочего, в именах зимбабвийцев, состоящих иногда из английских слов и словосочетаний. Уже исходя из названия романа — «Нам нужны новые имена», — можно сделать вывод, что НоВайолет Булавайо придает особое значение именам своих героев. Однако если англоязычные имена прозрачны для читателей оригинального издания, то имена африканские она никак не комментирует, вероятно считая, что посвященные и так знают, а остальным необязательно. Кстати, настоящее имя писательницы — Элизабет Зандиле Челе. А псевдоним, под которым она издается, составлен из имени ее матери Violet (*англ.* фиалка), предлога no (что значит «с») и названия ее родного города Bulawayo (*ндебеле* Бойня).

Полагаю, большинство читателей русского перевода без труда «раскусят» англоязычные имена даже в русской транскрипции и как минимум

оценят музыку многоязыкой африканской речи. А для тех, кто хотел бы копнуть поглубже, однако недостаточно знаком с английским языком, я составил словарь, где собрал все африканские имена из романа (и не только англоязычные, если мне удалось раскопать их значение) в русском и оригинальном написании с переводом.

Амма (Amma) — это ганское имя буквально значит «рожденная в субботу».

Бастард (Bastard) — незаконнорожденный (*англ., нем.*). Бастард — он и в Африке бастард.

Бонги (Bongi) — спасибо (*зулу*).

Борнфри Лизве Тапера (Bornfree Lizwe Tapera) — первая часть имени борца за демократию состоит из двух английских слов: born (рождаться) и free (свободно); вторая часть, Lizwe, на языке ндебеле значит «страна»; третья часть, Tapera, на языке зулу значит «дело сделано».

Буллет (Bullet) — пуля (*англ.*).

Верона (Verona) — правда, праведность (*итал.*).

Вадлоза (Vodloza) — трясучка (*зулу*).

Вулиндлела (Vulindlela) — это южноафриканское имя значит «идущий впереди».

Вуса (Vusa) — пробуждение (*зулу*), воскрешение (*коса*).

Вусамазулу (Vusamazulu) — в этом имени мож-

но выделить три части: Vusa (см. выше), ma (мать), zulu (небо).

Гадноуз (Godknows) — это имя представляет собой устойчивое английское выражение God knows, буквально значащее «бог знает, бог весть».

Гарикайи (Garikayi) — чеснок (*шона*).

Гезефи (Gezephi) — бунтарка (*араб.*).

Гоно (Gono) — бык (*шона*).

Дарлинг (Darling) — милочка, милая (*англ.*).

Дестини (Destiny) — судьба (*англ.*).

Джабу (Jabu) — сокращенно от южноафриканского имени Jabulani, что значит «радость».

Дигнити (Dignity) — достоинство (*англ.*).

Дуглас (Douglas) — от гаэл. dubh (темный) и glais (река), что значит «темная река».

Думи (Dumi) — сокращенно от южноафриканского имени Dumisani, что значит «хвала».

Дэви (Davie) — от еврейского имени Давид (▨▨▨), что значит «возлюбленный».

Жозефат (Josephat) — от еврейского имени Иосиф (▨▨▨▨), что значит «Божья милость».

Зонке (Zonke) — все (*зулу*).

Зюз (Zuze) — выгода (*зулу*).

Иден (Eden) — от названия райского сада в семито-хамитской мифологии; на иврите значит

«восторг».

Иэн (Ian) — это гэльское имя восходит к еврейскому имени Йоханан (יוחנן), что значит «Яхве милостив».

Коджо (Kojo) — это ганское имя буквально значит «рожденный в понедельник».

Констанс (Constance) — от *лат.* Constantia, что значит «верная, постоянная».

Кристал (Kristal) — от *греч.* Κρυστάλλινο, то есть «хрустальная».

Лавмор (Lovemore) — это зимбабвийское имя составлено из двух английских слов: love (любовь, любить) и more (больше).

Лунгиле (Lungile) — хороший (*зулу*).

Мабхада (Mabhada) — задира (*шона*).

МаДюбе (MaDube) — это южноафриканское имя буквально значит «Мать Любовь». Таким образом, оно эквивалентно англоязычному MotherLove.

Маи Тари (Mai Tari) — Миссис Любовь (*шона*).

Маи Шинги (Mai Shingi) — Миссис Стойкость (*шона*).

Макоси (Makhosi) — король (*зулу*).

МаМойо (MaMoyo) — это имя буквально переводится с языка йоруба как «Мать Сердце».

Мандла (Mandla) — сильный, властный (*зулу*).

Марина (Marina) — морская (*лат.*).

МаС’банда (MaS’banda) — первая часть имени, Ма, значит «мать», вторая часть, banda, переводится с языка банту как «дар бога».

Мгчини (Mgcini) — хранитель (*шона*).

Мессенджер (Messenger) — вестник (*англ.*).

Мёрджери (Merjury) — это зимбабвийское имя значит «суженая».

Мзилавуланделва (Mzilawulandelwa) — самообладание (*коса*).

Мозес (Moses) — английский вариант еврейского имени Моше (משה), буквально значащего «из воды».

Моше (Moshe) — это еврейское имя буквально значит «из воды».

Мудива (Mudiwa) — возлюбленный (*шона*).

Музи (Muzi) — дом, город (*зулу*).

Мукома (Mukoma) — брат (*шона*).

Муса (Musa) — арабский вариант еврейского имени Моше (موسى), буквально значащего «из воды».

Наярай (Nyarai) — смиренная (*шона*).

Нгало (Ngalo) — такие дела (*коса*).

Нене (Nene) — это ганское имя значит «король».

Нецай (Netsai) — это зимбабвийское имя значит «зови меня».

Николас (Nicholas) — от *греч.* Νικόλαος, что значит «победа народа».

Нкане (Ncane) — малыш (*коса*).

Нканку (Ncuncu) — нектарка (*зулу*).

Нкобиле (Nqobile) — это южноафриканское имя значит «покоритель(-ница)».

Нозифо (Nozipho) — дареная (*коса*).

Нокутула (Nokuthula) — примирительница (*зулу*).

Номопраблемс (Nomoreproblems) — это имя слеплено из англоязычного словосочетания No more problems, то есть «Больше никаких проблем».

Обей Марима (Obey Marima) — имя комиссара полиции состоит из двух слов: английского obey (подчиняться) и сватийского marima (фермер).

Офелия (Ophelia) — от *греч.* ὠφέλεια, что значит «польза, выгода».

Персевиранс (Perseverance) — упорство (*англ.*).

Примроуз (Primrose) — примула (*англ.*).

Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро (Prophet Revelations Bitchington Mborro) — это имя-титул зимбабвийского священника состоит из трех английских слов: prophet (пророк), revelations (откровения), bitchington (буквально «тонна скулежа») — и одного слова на суахили:

mborro (половой член).

Прэйер (Prayer) — молящийся (*англ.*).

Сакиле (Sakhile) — мы построили (*зулу*).

Салил (Salil) — это индийское имя значит «вода, поток».

Саму (Samu) — это имя, распространенное в Западной Африке, значит «упорный(-ая)».

Секуру Годи (Sekuru Godi) — Дедушка Красивый (*шона*).

Секуру Тендаи (Sekuru Tendai) — Дедушка Слава богу (*шона*).

Сибо (Sibo) — это южноафриканское имя значит «хвалить».

Сиза (Siza) — облегчение (*зулу*).

Симангеле (Simangele) — это южноафриканское имя значит «не удивляйся».

Синдимба (Sindimba) — название туземного танца Южной Танзании, которое значит «отзвук, эхо».

Сиса (Sisa) — Божья милость (*коса*).

Сиселокуле (Sicelokuhle) — хочу лучшего (*зулу*).

Сонени (Soneni) — это замбийское имя значит «красавица».

Стина (Stina) — сокращенная форма английского имени Кристиан (Christian), то есть «христианин».

Табани (Thabani) — блаженный (*зулу*).

Темба (Themba) — вера, доверие (*зулу*).

Тендаи (Tendai) — слава богу (*шона*).

Триша (Tricia) — сокращенная форма греческого имени Патрисия (от Πατρίκιος), то есть «благородная».

Уайтбой (Whiteboy) — это имя состоит из двух английских слов: white (белый) и boy (мальчик).

Уэлкам (Welcome) — добро пожаловать (*англ.*).

Фелистус (Felistus) — это замбийское имя значит «любящая».

Фогивнесс (Forgiveness) — прощение (*англ.*).

Фракшн (Fraction) — крупица (*англ.*).

Фридам (Freedom) — свобода (*англ.*).

Хоза (Khoza) — огонь (*зулу*).

Хоув (Hove) — бухта (*англ.*).

Цепанг (Tsepang) — это зимбабвийское имя значит «надежный».

Чака Зулу (Tshaka Zulu) — это двойное южноафриканское имя значит «небесный король».

Ченаи (Chenai) — чистая (*шона*).

Чензира (Chenzira) — путевая (*шона*).

Чипо (Chipo) — божий дар (*шона*).

Эния (Enia) — женская форма греческого имени Эней (Αινείας), то есть «чтимая».

Дмитрий Шепелев